

ДЁРДЬ КОНРАД
Соучастник
роман



Конрад Дёрдь

Соучастник

«Языки Славянской Культуры»

1975–1978

ББК 84.4

Дёрдь К.

Соучастник / К. Дёрдь — «Языки Славянской Культуры», 1975–1978

ISBN 5-94457-081-4

Роман «Соучастник» Дёрдя Конрада, бывшего венгерского диссидента, ныне крупного общественного деятеля международного масштаба, посвящен осмыслению печальной участи интеллигенции, всерьез воспринявшей социалистическое учение, связавшей свою жизнь с воплощением этой утопии в реальность. Роман строится на венгерском материале, однако значение его гораздо шире. Книга будет интересна всякому, кто задумывается над уроками только что закончившегося XX века, над тем, какую стратегию должно выбрать для себя человечество, если оно еще не махнуло рукой на свое будущее.

ББК 84.4

ISBN 5-94457-081-4

© Дёрдь К., 1975–1978
© Языки Славянской Культуры, 1975–1978

Содержание

Роман «Соучастник» – глазами переводчика	6
Клиника	8
Семья	44
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Дёрдь Конрад Соучастник

© Ю. П. Гусев, перевод на рус. яз., 2002

* * *

Роман «Соучастник» – глазами переводчика

Герой этой книги – интеллигент. Представитель того общественного слоя, который в массовом сознании ассоциируется со спокойной, размеренной жизнью, работой за письменным столом, размышлениями над всякими умными вещами, обогащением духовной культуры человечества.

Возможно, в благополучных странах, в благополучные времена оно так и есть. Вот только в нашем регионе, Восточной Европе, благополучных стран нет, благополучные времена тоже как-то не спешат вспоминаться. И интеллигенция здесь, при всем огромном духовном потенциале, которым она обладает, при всей ее выдающейся роли в развитии мировой культуры (взгляните хоть на историю авангарда: ведь он, даже на Западе, в основном «сделан» выходцами с периферии, прежде всего из Восточной Европы), – это самый потерянный, самый несчастный класс. С одной стороны, она, интеллигенция, вырабатывает идеологию революций, с другой – любая революция именно их, «очкариков», в первую очередь ставит к стенке, уничтожает едва ли не с большей жестокостью и ненавистью, чем классовых врагов. С одной стороны, любой рабочий и крестьянин мечтает о том, чтобы его дети получили образование, не занимались грязной и тяжелой физической работой; с другой стороны, интеллигенты в массовом мнении – дармоеды, шелкоперы и т. п.

Соучастник чего – герой Д. Конрада?

Можно ответить и так: соучастник преступления. Или (что, увы, практически то же самое) – соучастник истории. Истории XX века. Ведь беда интеллигенции в том, что лучшая ее часть – люди общественно активные, болеющие за свой народ, за свою страну, за человечество, наконец. Поэтому они всегда оказываются в первых шеренгах тех сил, которые обещают устроить рай на земле. А поскольку рай на земле, видимо, в принципе невозможен, они же и страдают первыми, когда логика истории (то, что называют «колесо истории») вдавливает их, очками, умными высокими лбами, в кровавую грязь.

На собственном опыте, на собственной шкуре испытал все это, герой Конрада (некто, обозначенный инициалом Т., что лишь подчеркивает – как у Кафки – его собирательность) уходит от общества, от всяких форм **соучастия** – в сумасшедший дом.

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры», – написал в свое время Шекспир, с грустью убедившись, что человек готов играть любую, даже самую неприглядную роль, лишь бы не быть самим собой. Со времен Шекспира мир не только не стал лучше, разумнее, человечнее: он утратил даже сходство с театром – учреждением, в общем-то имеющим отношение к духовности. Конрад избирает другую метафору: сумасшедший дом. По логике художественной мысли, во всеобщем разгуле безумия самое разумное, самое человеческое место – психиатрическая клиника, где ты оказываешься среди добрых идиотов и безобидных, или, во всяком случае, честных маньяков и шизофреников, где ты со спокойной совестью можешь оставаться самим собой, где царят естественные, исконно мудрые – почти в духе руссоистской утопии, но лишённые всякого утопизма – законы человеческого общежития.

Активное участие в истории, серьезное отношение ко всякого рода идеологиям – путь к саморазрушению личности. Герой книги в последний момент нашел способ спасти себя, отпрыгнуть в сторону. Его младший брат – не успел, не сумел сделать этого; для него выхода нет.

С сочувствием ли, с пониманием ли воспримет читатель тот способ спасения, который показан здесь Конрадом, – зависит от читателя, от его характера, жизненного опыта, условий жизни. Но, мне кажется, с метафорой «мир – сумасшедший дом» не согласиться просто невозможно.

Ю. Гусев

Эта книга – не автобиография, а плод фантазии. Дань почтения старшим моим друзьям, с которыми история обоилась более жестоко, чем с моим поколением. Именно эта разница в возрасте дала мне возможность описать их тернистый путь. Примите мою благодарность, все, кто в том или ином эпизоде книги узнает себя или события, о которых вы мне рассказывали.

Клиника

1

Целый день я веду нескончаемые беседы с призраками, всплывающими в сознании; мгновения прошлого взбухают и лопаются, как восковые ячейки в центрифуге при откачивании меда из сот. Хлам бредовых видений расплзается, заполняя меня; это целая маленькая вселенная. Смиранный путник, я оказываюсь то в одном саду, то в другом, меня швыряет из постели в постель, из одного тела в другое. С младшим братом, Дани, мы стоим в кузове грузовика, пыльный ветер сотрясает ветви платанов, рядом, у наших ног, сидит наш дед в белом саване, монотонно умоляет нас бросить оружие. Брат поднимает над головой свой автомат и выстреливает весь магазин в воздух. Мы, заговорщики, сидим в лесу на поляне. Я не знаю, чего мы хотим, и гадаю, сколько лет могут нам дать и кто из нас – осведомитель. Я едва узнаю брата: на голове у него – светлый парик, он пятится от меня, мягко ступая по прошлогодней листве. Я иду за ним через редковатую тополиную рощу; он, закрыв глаза, лежит на широкой лавке в бревенчатой хижине, я отодвигаю его к стене, чтобы лечь рядом, он пытается столкнуть меня на пол, мы устали от долгой борьбы, он показывает на потолок: там – огромный циферблат, стрелки на нем вращаются с головокружительной скоростью. В одних носках я шагаю по тюремному коридору, меня ведут к начальнику. «Не могу привыкнуть к мысли, что я за решеткой», – говорю я. Он кладет руку мне на плечо: «Глупый юноша, поймите же наконец: вы здесь – в храме разума!» Я отгибаю прутья решетки в окне камеры, пол весь в блевотине, за спиной у меня старик, он плачет, просит, чтобы я взял его с собой. Ввалив его неудобное, рыхлое тело на спину, я плыву куда-то в зеленой стоячей воде. Я бы рад избавиться от него, но наши с ним шеи туго связаны мокрой веревкой. «Тихо, тихо, сынок, не спеши!» – говорит отец; из его густой бороды поднимаются пузырьки воздуха. «Сделай же что-нибудь, – кричу я ему, – ты ведь равнин все-таки!» «А, какой из меня равнин, – отвечает он безнадежно, – если я все десять заповедей преступил». Мы едем с матушкой в поезде, багажная сетка над головой завалена пакетами и пакетиками, напротив сидит офицер, матушка подтягивает повыше краешек красного платья на красивой коленке. Входит однорукий ревизор, кладет на сиденье фонарик, компостер, вонючей ладонью зажимает мне рот. Я пронзительно визжу, матушка издает воркующе-стонущие звуки. «Утихомирь своего щенка!» – тяжело дышит ревизор. Офицер расстегивает кобуру и, опустив окно, стреляет в ворон на телеграфных столбах. В вагоне-ресторане я даю сеанс одновременной игры толстоногим и толстозадым тюремщикам: еще один неверный ход, и меня отправят на виселицу. Приходит жена, она была моим последним желанием; она примеряет на узел белокурых волос шляпки с широкими полями, требует, чтобы я сказал, какая идет ей больше всего. «Меня повесят», – говорю я непримиримо. «Да не думай ты о такой ерунде, глупенький», – говорит она, и ее большие полные губы тянутся к моему лицу. Поезд вкатывается под стеклянную крышу обнесенного решеткой вокзала, служащие здесь – сплошь эки. Арестант приносит мне чистую рубашку, я ищу на ней тюремный штамп. Меня фотографируют, кладут под пальцы подушечку с черной краской. «Лобковые вши имеются?» – звучит вопрос. В рубахе без воротника, длинных подштанниках, башмаках без шнурков я шагаю по коридору. «Тебя в зале для некурящих будут кончать», – доверительно шепчет мне оказавшийся рядом эк. «Почему для некурящих?» – встревоженно спрашиваю я. «В другом зале – прием правительственный. Красный ковер видишь?» Я прихожу куда-то, вокруг – стены в пятнах грязно-зеле ного мха, в ржавых потеках; в пустых проемах стоя мочатся женщины, лица у них в синяках. Меня ведут сквозь строй, по спине хлестко бьют шомпола, я тороплюсь, хотя

никто меня не торопит, и, выбив раму окна, прыгаю в пустоту; над брусчаткой двора натянута проволочная сетка, она, пружиня, подбрасывает меня. Я сижу на длинной скамье, рядом со мной – надзиратель с румянцем во всю щеку, дальше кто-то бледный, в штатской одежде, потом еще один краснорожий надзиратель, и снова бледный штатский; запястья наши в наручниках. Из коридора меня ведут в банное помещение, кругом – раскрасневшиеся братья-обезьяны, вода течет с кончиков их хвостов, зажмуренные глаза, закинутае назад головы, они купаются в илистой толще памяти, в воскресной благодати, в теплоте околоплодных вод. Уронив голову на грудь, я сижу по-турецки на деревянной решетке под душем, раскачиваюсь взад-вперед, у меня с собой лезвие, сохраненное во всех шмонах, сейчас бы самое время вскрыть вены, вскрыть и смотреть, как теплая мыльная вода под решеткой уносит в канализацию мою кровь. Из душа вдруг начинает сочиться ржавая жижа; на лбу моем каплями проступает раскаяние. Я сижу в коридоре, кто-то выходит и сообщает, что у меня родилась дочь; я сижу в коридоре, кто то выходит и сообщает, что мой друг вряд ли уже придет в себя; я сижу в коридоре, меня вызывают как свидетеля, вызывают как обвиняемого, не вызывает никто, хотя время посещения уже закончилось. С автоматом в руках я стою у окна в коридоре госпиталя, в только что освобожденном гетто, мимо провозят труп, накрытый серым одеялом, я смотрю вниз, во двор, где высокой, до уровня второго этажа, грудой громоздятся полураздетые тела с вывернутыми, нелепо торчащими руками и ногами; поблизости открывается дверь, и я обнимаю белую тень. Из последних сил я бегу по коридору, из-за коричневых дверей мне навстречу выскакивают сердитые люди; спустя час, поддерживая под мышки, меня выводят в одну из этих дверей, ноги мои, словно тряпичные, тащатся по полу. В коридор выходит зэк-парикмахер в белом халате, недоуменно смотрит на окровавленную бритву, зажатую в правой руке, за спиной у него, в комнате, во вращающемся кресле, уронив голову набок, сидит мой товарищ по заключению, у парикмахера сегодня заканчивается пятнадцатилетний срок, я должен был бы стать его последним клиентом. С палкой, в больничной пижаме, я шагаю по коридору, улыбаюсь идущей навстречу сестре, у нее каменное лицо; в углу, стоя на четвереньках, скулит мой бывший соратник, хватая меня за шнурки ботинок; он боится встать на ноги: вдруг в окно влетит пуля; он клянчит у меня сигарету, трется боком о радиатор отопления, потом, опять же на четвереньках, направляется к комнате медсестер и там часами сидит под дверью, ждет, чтобы кто-нибудь сунул ему кусочек сахара.

Ты – мышь, которую с размаху шмякнули об пол, а сверху еще накрыли цветочным горшком. Ты должен спешить; бельэтаж, второй этаж, третьего тебе не достичь никогда. Из-за занавески в окне напротив следит за тобой в оптический прицел снайпер, ты тоже не можешь отвести взгляда от чьего-то чужого зрачка. Ты ползком пробираешься через кольцо осады, прекрасно зная, на кого идет облава. По чужим следам ты уходишь куда-то, где тебя не сумеют найти, откуда не смогут вернуть. Встретить бы хоть кого-нибудь, кому можно сказать по секрету, что домой ты больше никогда не вернешься. Покоя нет и не будет, к этой боли нельзя привыкнуть, как нельзя привыкнуть к деспотии почечных колик; цепь ошибок, которые ты допустил, въелась в сознание, тут уж ничего не исправишь, и не будет тебе ни прощения, ни наказания. Непрошенных квартирантов этих – не выгнать, не заболтать словами, они – как приبلудные шелудивые псы, что согласны питаться лишь твоей плотью. Как только из-под штанины мелькнет твоя щиколотка, тут же слышится голодное, хриплое их дыхание; закрывайся, не закрывайся, они прогрызут любую дверь. Найдется ли на свете калитка, куда тебя бы впустили, а их оставили бы снаружи? Ты и в зеркале не увидишь собственного лица, оно украдено, из зеркала улыбается следователь, который тебя допрашивал; дотронься до кресла – под твоим указательным пальцем оно рассыплется в пыль. Ты ничего не способен сказать, но что с этого толку, если глаза выдают всем подслушивающим устройствам твои безрассудные, но запрещенные мнения. Удивительно, что к тебе кто-то еще вообще обращается, ты давно уже старая глухая тетеря, только распутная эта горилла вопит и беснуется там, внутри, ржет над

собственными остротами, доводит тебя до изнеможения, у тебя и времени-то ни на что больше не остается. Ты бродишь в толпе слепых, словно покойник, которому как-то не удалось сообщить, что он умер. Суетливо шагаешь из угла в угол, наступая строго на одни и те же плитки, или полдня сидишь на корточках у косяка входной двери. В мирное время ты оказался в плену, со всех сторон к тебе тянутся мягкие белые лапы, трясут тебя за подбородок: отвечай. Ты отводишь глаза, пересчитываешь листья на ветке дерева, пересчитываешь пальцы на руке. Ты сворачиваешься в позу зародыша, оставляя тем, кто тебя стережет, иллюзию пространства: оно пока еще в их власти. Только бы не этот голод по женскому телу, что все еще заставляет трепетать твои увядающие инстинкты. Любая крупница сущего – закодированный сигнал; ты покинул дом отца твоего, тебе так хочется сбросить с себя беспокойную оболочку плоти, чтобы в потустороннем сиянии оставаться самим собой, цельным, как яйцо. Ты сидишь на скамье, мечтая пригласить сюда, хотя бы на коротенькое свидание, большеглазых женщин с милыми лицами, но – эта кирпичная стена с побелкой в разводах копоты; может, тебя никто никогда и не приезжал навестить. Но откуда тогда у тебя этот пирог с таким знакомым, домашним вкусом, пирог, который ты, не глядя ни на кого, торопливо запикиваешь себе в рот?

2

Отсюда, из сумасшедшего дома, меня тянет сейчас в город моего детства; мне тошно от запаха испражнений и от множества омерзительных морд, хочется какого-то яркого зрелища. Звенят медные тарелки, верещат лилипуты, по главной улице вышагивают, раскачиваясь, двое ряженых на ходулях. На головах у них – остроконечные китайские колпаки, на штанинах, под которыми скрыты ходули, алеют генеральские лампасы, на плечах – золотистый плащ и живая мартышка. Из скрежещущих рупоров летят обещания умопомрачительных номеров, от которых у почтеннейшей публики кровь будет стынуть в жилах. Мы с братом, зачарованные, бежим следом за циркачами; два лилипута с огромными головами, с проваленными переносицами ходят колесом, пинают друг друга под зад, шепеляво ругаются по-английски. Мартышка в матросском костюмчике покидает высокий насест, откуда мудро взирала на весь этот кавардак, и, гнусно гримасничая, раздает старикам-лилипутам затрецины: мол, ведите себя в рамках приличий.

В речке, что протекает между рыночной площадью и футбольным полем, стоят на галечном дне бабы с красными икрами, отбивают вальками посконные простыни, служившие при зачатии не одного поколения горожан. Гусак-эпилептик шипит истерично, вытянув шею к остову циркового шатра; а когда на шестах возносится и натягивается мистический провонявший брезент, в клетке своей, вдруг озлившись и издав злобный рык, лев бьет лапой по лиловой груди бычьих легких. На плечах у силача – два крокодила с бессмысленными глазами; дикими макаками мы щекочем им края пасти. С натянутого каната спархивает акробатка, ноги ее с красными ноготками легко приземляются на спины крокодилов; лишь на груди у силача вздрагивает вытатуированная пиратская бригантна.

Возникает откуда-то полицейский с красным свекольным носом; за некоторую сумму чаевых он склонен пренебречь поддержанием правопорядка, а чтобы пренебрегать им можно чаще, он до позднего вечера бродит по улицам, вынюхивая, не случилось ли где правонарушений. «На скрипке играть не положено», – заявляет он человечку с крутыми скулами, в широком клетчатом балахоне. Музыкант, сияя в ответ широкой улыбкой, продолжает играть. «А вы отнимите скрипку», – ласково подначивает он пузатого стража. Скрипка переходит в руки полицейского, но из-под просторной полы клетчатого одеяния появляется другая, из рукавов вылезают кларнет, флейта; струны у музыканта – даже на подошвах ботинок. «Я сказал: не положено!» – яростно топает ногами весь увешанный музыкальными инструментами представитель враждебной искусству власти. Но клетчатый человек и сам – сплошной

инструмент: из его зубов, потом из ноздрей вновь и вновь раздаётся все та же жалобная мелодия. «Научи меня, – упрощаю я его, – я тоже хочу быть музыкальным клоуном». Он кладет руку мне на плечо: «Этому никого нельзя научить, это только мой номер. Я десятилетиями его разучивал. Свой номер есть у каждого стоящего музыкального клоуна. Если ты терпелив, к старости будет и у тебя».

Вечером человек, уже как настоящий клоун с вымазанной белилами физиономией, выбегает на усыпанную опилками арену. В загадочном полумраке под куполом мечутся беспокойно лучи прожекторов, нагнетая ожидание и выхватывая в рядах лица зрителей, перекошенные улыбками, с губами, жирными от торопливо доедаемых бутербродов; лица эти, как и сам невесомый свет, словно парят в зияющем пустотой пространстве между конструкциями шатра. Из-под парика грустного клоуна безжизненно смотрит бескровный лик, неподвижный, как диск полной луны. В складках губ, в линии острого, будто у покойника, носа – ни скорби, ни смеха. Плавно, подобно канатоходцу, балансируя широко расставленными руками, он – привязанный к позорному столбу – изображает свободное парение. Судорожно извиваясь, освобождается от длинной, до пят, грубой рубахи; сейчас он – ловкач, который, если потребуется, сбежит даже с прозекторского стола. Во взмахах его гибких рук чудится неумолимость движения, каким в окраинной подворотне всаживают в живот невезучему прохожему узкое лезвие финки. Проницательно и презрительно, словно старый тюремщик, глядя в добродетельное лицо почтеннейшей публики, он раздражается пронзительно-хриплым смехом, он видит тебя насквозь, небрежно беря в руки и осматривая каждый отдельный орган, и бесцеремонное это копание действует гипнотически, вызывая в душе почти мистический ужас.

Побьем же камнями этого колдуна, который, корча из себя деревенского дурачка, кощунственно пародирует самого Иисуса Христа! Ничтоже сумняшеся, он на весь белый свет разглашает то, о чем ты и думать боишься. Рекордсмен ясновидения, он надсмехается над собой, смешным же выглядишь – ты. В трагедии наши он подсовывает язвительные подтексты, на бронзовых воинов натягивает смиренную рубашку, весело мочится на освященные веками гербы, сворачивает в трубку пергамент докторского трактата и озорно дудит в него; он всех нас увлекает в цирк, обещая снять с души самые страшные прегрешения.

Идемте, идемте же в пестрый шатер, где, балансируя на плечах князя мускулов, небрежно завязывающего узлом стальной стержень, герцогиня трапеций поднимает вверх свою маленькую, крепкую, словно орешек, попку и складывается, наподобие книги, вдвое. Где белый медведь с солнечным зонтиком лихо катит на велосипеде, где тюлень жонглирует большим цветастым мячом, где в такт музыке пританцовывает на задних ногах кастрированный вороной жеребец с букетиками цветов в заплетенной гриве. Где тигр, спрятав когти, мягкой лапой поглаживает спесивого барашка, пока тот объедает травяную юбочку укротительницы-арапки. Где крохотные девчужки летают с непроницаемыми улыбками над пляшущими звездами. Где дирижер, управляя оркестром, перепрыгивает через свою палочку; где из медных воронок труб изливается теплый нутряной запах страха, выгибая вверх туго натянутый купол шатра. Где метатель ножей привязывает к доске жену, которая пьет все больше валерьянки, потому что у мужа в последнее время трясутся руки. Где всевидящая мартышка на одноколесном велосипеде объезжает по экватору земной шар.

От разварившейся мешанины вероятностей у тебя тошнота подступает к горлу; вот почему, сидя во дворе психушки на скамье, ты мечтаешь о революциях, которые обещает и без обмана осуществляет цирк. Да, тебе бы тоже, наверно, хватило терпения, чтобы положить на гладкий цилиндр доску, на нее – еще цилиндр, на него – еще доску. И, наращивая и наращивая под собой зыбко колеблющуюся опору, взгромоздиться в такую высь, где, приложив козырьком ладонь ко лбу, ты спросишь недоуменно: а цирк-то, собственно, где? И – как теперь отсюда слезать? Ибо ты взобрался слишком уж высоко и тебе страшно на этой колышущейся башне совсем одному.

3

В неторопливых размышлениях о том о сем, вместе с восемью или десятью сотоварищами, которые точно так же не считают себя больными, как не считаю себя больным я, – сижу в коридоре, жду, когда нас позовут есть невкусный, но сытный обед. Все мы здесь в одном положении, и положение наше – хуже, чем мы сами: мы – чокнутые, мы – психи, потому что нас считают психами, а еще потому, что тем, кого мы любим, мы нужны куда реже, чем они нам. Истории наши, если смотреть вблизи, совсем разные, общее же – одно: ни один из нас не идентичен своей истории болезни, которая отражает скорее шаблоны психиатрии, чем состояние наших душ. Мне даже весело оттого, что ничто человеческое невозможно по-настоящему ни воспринять, ни понять.

Как бы это ни было соблазнительно, обманывать я себя не могу: каждый этап моей биографии – ошибка. Всю жизнь с пеной у рта я боролся за что-то или против чего-то; чаще всего – с оружием в руках. В форме офицера оккупационной армии, потом в ранге партийного функционера вассального революционного государства я помогал создавать систему власти, которая дважды упрятывала меня за решетку и которая вынуждена постоянно вынюхивать крамолу, ибо ее твердолобые подданные никак не желают усвоить, что для них же лучше – не делать того, что им хочется делать. Я воспитал тысячи молодых людей, сделав их революционерами, такими же, как я сам; некоторых воспитал настолько успешно, что из них вышли самые злобные следователи из всех, кто когда-либо допрашивал меня в управлении госбезопасности.

Из длинного списка своих ролей я вычеркиваю сейчас роль человека действия: человека, который перед лицом истории берет на себя ответственность за происходящее и сворачивает шею тем, кто не успел перед лицом истории забиться в какую-нибудь нору. Вычеркиваю и роль мелочного прагматика с его источниками доверительной информации, с его лукавой полуправдой, с его сферами разрешенной псевдодеятельности. Затем вычеркиваю роль кокетливого мыслителя-оппозиционера, с его ежедневными, скрупулезно просчитанными партиями, играемыми против старых друзей, ставших министрами. Это ведь тоже стратегия: избавиться от всяких стратегий. Больше я ничего не вычеркиваю; я забираюсь обратно в себя самого и устраиваюсь поудобнее, оставляя за спиной у себя убийственные и самоубийственные слова.

Сделав выбор в пользу психиатрической клиники, ты выводишь себя из-под колпака госкультуры, который тебя не только ограничивает во многом, но во многом и защищает. Ты уходишь к тем, от кого нечего ждать, что они тебя защитят. Они ни с кем не борются, им никто не завидует, ниже скатиться отсюда уже невозможно. После стольких лет, проведенных в тюрьме, ты обрел дом; здесь ты настолько пленник, что тебе даже в голову могут влезть: химическими препаратами или током у тебя время от времени отколупывают кусочек сознания.

Если тебя никто не принимает всерьез, то рано или поздно тебя оставят в покое; ты тихо копошишься себе, занимаешься то тем, то этим. Хочешь – подрезаешь плодовые деревья, хочешь – штукатуришь кирпичные стены; к вечеру ты ощущаешь приятную усталость. Ответственности – никакой, ничто не заставляет тебя заботиться ни о ком, даже о какой-нибудь приبلудной кошке. Глядя на две сотни своих товарищей-пациентов, я вижу в них двести учителей – и стараюсь понять их, примеряясь к себе самому: ведь каждый из них знает что-то, чего не знаю я. В тусклом этом сообществе, одетом в серые суконные робы, у меня тем не менее больше свободы, чем у наших опекунов в белых халатах. Самоуважение мое на этой предельно низкой ступени общественной иерархической лестницы постоянно подпитывается иллюзией независимости, которую порождает имеющая место и здесь, в психушке, слабенькая, едва заметная, но все-таки реально существующая культур-критика.

Уязвимых мест на мне не так много; если я копаю, мне достаточно, что я копаю; если ем, достаточно, что ем. Поощрения мне не нужны, мстить я никому не собираюсь. Все, что со

мною еще может в жизни случиться, – хорошо. Я не хочу, чтобы когда-нибудь у меня снова возникло желание быть хозяином; только гостем, который тихо созерцает окружающее. Я иду – и понятия не имею куда; ко всему, что со мной произойдет, я заранее отношусь как к некоему приключению. Я не досадую на свои ноги, если они покидают невидимую тропу: со временем они на нее вернуться. Еще несколько дней, еще несколько лет, и, незаметно для самого себя, я пересеку и рубеж смерти. Если правда, что Бог лишь через нас, людей, может пробиться к себе самому, что ж, я на его пути помехой не стану.

Но боюсь, что и отсюда, с выпиской о положительном итоге проведенных в клинике лечебных мероприятий, я рано или поздно попаду-таки домой; и буду поддерживать отношения лишь с одним-единственным госчиновником – почтальоном, который раз в месяц будет звонить в дверь, принося мою скромную пенсию. Если я больше не стану писать ничего, кроме открыток, то мир будет открыт передо мной, и я, с рюкзаком за плечами, даже смогу ходить в лес по грибы. Правда, на лице у меня обозначится еле заметная тревожная, молящая черточка; но и она будет видна лишь в тех случаях, когда в безрадостном своем, бесконечном отпуске, в летние утренние часы, я опущусь в плетеное кресло на открытой террасе кафе, у столика, вокруг которого будет сидеть и шамкать компания дряхлых ворчливых революционеров. Иногда еще будет звонить телефон: накануне дня своего посещения дети мои сообщат, что в этот раз ну просто никак, только на следующей неделе. И мы с женой после ужина, в тишине, сами сжуем землянику, которую я целый день собирал для внуков под елками. Про себя я произдеваюсь над старостью – прежде чем это сделают, про себя или вслух, молодые. Конечно, я был бы рад, если бы они пришли и сели за мой стол, но мне будет приятно и в том случае, если они позовут меня к себе и посадят в конец стола и если хоть кто-нибудь сделает вид, будто прислушивается к моей похвальбе, невнятной и шепелявой.

4

Днем мы разбредаемся по рабочим местам: можно клеить из бумаги пакеты, вырезать из кожи ромбики и квадратики, плести коврики для ног, сажать рассаду, косить траву на склоне холма, разравнивать граблями щебенку на аллеях, а можно и ничего не делать, просто болтаться в скверно пахнувшей гостиной и ждать обеда. Кто не работает, тот теряет право на увольнительные, не получает карманных денег – и подобострастно заглядывает в глаза работающим, выпрашивая окурочек. Большинство больных разрешением на выход и так не располагает; правда, если приспичит, можно смыться через забор, но доносчиков в клинике много, так что директор всегда в курсе дела. Побег – вещь уж совсем несерьезная, удостоверения наши заперты в сейфе, без них – ни жилье снять, ни на работу наняться. Больничная роба тоже бросается в глаза, в ней долго не набродяжничаешь, рано или поздно попадешься на глаза полицейским – и вот уж машина с красным крестом доставляет тебя назад в клинику. А после этого – шокотерапия, порция лекарств увеличивается, деньги карманные сокращаются. Родне, и без того не слишком внимательной, уходит письмо с просьбой на некоторое время воздержаться от посещений. Директор опечален: и почему больные не чувствуют себя как дома в его маленьком либеральном образцовом обществе? Печаль мало-помалу проходит, директор – человек чувствительный, бывший беглец же расплачивается за свою черную неблагодарность продолжительной неспособностью вообще что-либо чувствовать. В невидимой смиренной рубашке – могучая все-таки вещь химия! – он тупо слоняется меж колонн вестибюля.

Рваться отсюда куда-то – глупо: большинство психиатрических клиник куда хуже этой. Ну, хорошо, ты в конце концов добьешься, чтобы тебя перевели. Всего один телефонный звонок, коротенький дружеский разговор двух улыбающихся начальников – и дело сделано. Два мускулистых санитаров на белой машине привозят сюда одного пациента, отсюда взамен увозят другого. У нас тут нет решеток на окнах, нас не заталкивают в койку, обтянутую со всех сторон

сеткой, за столом мы пользуемся ножом. В клинике царит свободная любовь, мы совершаем групповые походы в театр, в кино. Некоторые, особо привилегированные больные – ереди них и я, например, – если прилежно работают, имеют право жить за территорией клиники, в деревне, а сюда лишь являться, как на службу. Если тебе и этого мало, что ж, ты получишь возможность узнать, в психиатрической клинике соседнего города, что такое твердая рука.

Там санитары-педерасты, отсидевшие срок уголовники, с помощью мелких поблажек воспитывают из крепко сложенных мужичков, лечащихся от алкоголизма, настоящих надзирателей. Один взгляд санитаря – и послушные алкаши, обступив какого-нибудь жалобно орущего бедолагу, который посмел уклониться от оказания сексуальных услуг или, пожирая добытый тайком хлеб, норовил избавиться от электролечения, неторопливо, не надрываясь, бьют его, пока на нем живого места не останется. Все вокруг слышат вопли, но здравый смысл подсказывает и врачам, и больным не совать нос, куда не просят.

Так что мы, направленные сюда органами исполнения наказания на принудительное лечение, стараемся жить без шума. И попусту не досаждаем начальству: ведь директор, если бы и захотел, отпустить нас не имеет права. Даже старики-маразматика и прошедшие все круги ада шизофреники у нас – спокойные граждане тихого сообщества. Остальные, правда, частенько роятся вокруг персонала в белых халатах, нудно требуют ответа: когда им уже наконец можно будет вернуться домой? Ответы ласковы и шаблонны: вот вылечитесь, миленький, вот будете себя хорошо вести, тогда – осенью, или зимой, или на будущий год. Иной, услышав это, сердито топает ногой: ну уж нет, в следующий понедельник ноги его здесь не будет. Да? – с интересом оборачивается к нему врач. Не исключено, что в тот же день, ближе к вечеру, строптивец будет доставлен в процедурную, где благотворный электрошок немного примирит его с существующим положением вещей.

Некоторые, зная это, стараются подольститься к врачу, приторным тоном благодарят за лечение и заботу, сообщают с сияющим лицом, что самочувствие у них – просто великолепно. Тогда чего вас отсюда тянет? – спрашивает врач, дружелюбно трепля пациента по плечу. Есть и такие, кто интересуется, когда можно уехать домой, таким тоном, словно спрашивают, который час. За вопросом ничего не стоит: у такого ни семьи, ни дома, да он, собственно, не так уж отсюда и рвется. Просто хочется на минутку остановить спешащего мимо человека в белом халате, может быть, коснуться его рукава, выманить у него улыбку, сделать вместе несколько шагов по коридору. Вдруг после этого власть предрержащая станет обращаться к нему по имени, да и мало ли на что пригодится мимолетный этот контакт.

Тоскливые взгляды и заискивающие слова тех, кто мечтает вернуться домой, немного обременительны для врача: кому же приятно чувствовать себя тюремщиком? Но он не в силах забыть и о том, как внешний мир следит, строго ли соблюдаются его правила даже здесь, в сумасшедшем доме; да и к снисхождению у него нет особых склонностей. На воле столько суровых требований, что большинству больных, отпущенных домой в испытательный отпуск, не удастся там зацепиться и удержаться. Пав духом, они сами просят вскоре обратно. Но подозрителен и тот, кто никогда не просится домой: значит, он выгорел, он опустошен. Попробуем-ка чуть-чуть подбодрить его с помощью электричества. Здесь тоже не так-то легко вести себя умно.

5

Мимо проходит директор; он нервничает: слишком много у него противоречащих друг другу задач; не придумав ничего лучше, он садится рядом со мной: мы знаем друг друга с детства. Я пытаюсь говорить с ним на его языке, но мозг мой протестует и отвечает спазмами; тогда я вновь опускаюсь в мутные воды своих ложных идей и заблуждений. Сиди возле нас спокойно и не говори ничего. Мы, больные, принимаем к сведению друг друга, лениво щура глаза,

словно кошки на припеке. Мы в самом деле лишены возможности просто так, не привлекая к себе внимания, купить даже пачку сигарет, мы повсюду таскаем за собой наш идиотический театр. Но тебе тоже не повредило бы, если бы ты хоть раз сыграл свой спектакль. Ты бы понял, почему в управлении госбезопасности я на несколько месяцев потерял дар речи, хотя знал, что тем самым даю им законный повод отправить меня на принудительное лечение. Не слишком это большое веселье – всю оставшуюся жизнь давать уклончивые ответы на дурацкие вопросы.

Ты думаешь, что наблюдаешь за нами; а на самом деле это мы изучаем тебя. В общем ты не совсем дурной человек, ты знаешь, что различия между нами весьма относительны, и пакостей изобретаешь ровно столько, чтобы остальные не подсадили тебя как чужака. Ты прав, в лабиринте навязываемых шаблонов действия мы утратили уверенность в себе. Неожиданный вывих, случившийся с нашими излюбленными идеями, настолько поразил нас, что мы до сих пор не можем прийти в себя. Нам не дано таланта с пародийной серьезностью подражать вам – ради того лишь, чтобы свободно гулять, где хочется.

Уж коли ты оказался рядом, скажу: по одну сторону находимся мы, сумасшедшие, по другую – вы, дураки. Вы собрали нас и заперли здесь, чтобы перемонтировать по своему образу и подобию; своими медикаментами вы гадите в нашем мозгу. Психиатрия ваша – тоже симптом вашей непроходимой дурости. Ладно, бойтесь нас! Защищайте свои банальности, примитивные, как квадрат! Мира между нами нет и не может быть. Не только вы лезете к нам в мозги: мы отвечаем вам тем же; касаясь вас, мы вынуждаем вас отклониться с прямого пути. Посмотри на этого философа-каталептика, что готов годами стоять у двери; он знает столько, что ему и шевелиться не надо: само его присутствие – послание вам. Но лучшие из нас, незамеченные, бродят меж вами, исподволь оккупируя вашу культуру. Великие и непостоянные, они развлекаются так искрометно, что у нас от их веселья – искры в глазах.

Нормальный дурак – серьезен: он постоянно занят тем, что отделяет правильное от неправильного. Смеяться он умеет только над другими и ненавидит разгульные оргии понимания. Сотрите в ваших календарях такие праздники, как утрата девственности, кончина матери, годовщина ареста. И вообще все случаи, которые дают какой-нибудь достоверный опыт: например, день, когда вы съели целую печеную утку, или когда пожар уничтожил ваш дом, или когда, навещая больного, вы немножечко влезли в шкуру ближнего своего. С какой стати вы позволяете нам без приказа свыше здороваться друг с другом на улице – если запрещаете делать это в коридоре тюрьмы?

Не обижайтесь, но вы еще не видали изнанку вещей. Вы знаете лишь, чего вам хочется и чего вы боитесь. Этот человек, например, тут, рядом со мной, просто не может не дрожать от страха. Ведь ему дано было за какой-то час узнать о мире столько, сколько другому и за год не удастся. Истина прожигает сознание, как пистолетная пуля – рубашку. Мистика – несчастный случай, революция в мозгу. Бог – светоч огненный, и смерть – светоч огненный. В мозгу этого человека – налет копоти после инфаркта истины.

Милый мой, что за жестко целенаправленный волчий мир обрек тебя не замечать в жизни самое важное – словно в булочной с полками, набитыми до отказа, не найти хлеба. Боюсь, ты не способен увидеть в действии наказание и в наказании действие. Все мы – не что иное, как схемы разного рода отклонений от нормы. То, что ты полагаешь ошибочным, может быть, всего лишь плод по бочной прогулки разума. Не исключено, что это не вы изолировали нас здесь, а мы отгородились от всего мира, использовав вас в своих целях.

На первый взгляд, мысли наши не слишком заняты соседом по скамье, с которым мы соприкасаемся локтями. И все же мы знаем, что у него в душе. Мы общаемся с ним на таком языке, для которого у вас не существует учебников. Мы не всегда понимаем краткие намеки друг друга, но если я пустую трубку свою набью мелкой галькой и с удовольствием буду ее потягивать, остальные этому вовсе не удивятся.

Вам же какая-то сентиментальная мораль, мораль уголовного преследования, предписывает, лечь человека, доводить его до отчаяния. Ну хорошо, вы нам причиняете боль; но почему вы требуете, чтобы мы это еще и одобряли? Да, вы даете нам постель и обед; но если бы вы знали, как нам осточертело, что суп с мясом полагается больному только в том случае, если он проглотил и лекарство. С пересохшим ртом, с негнушимися ногами мы тащимся, куда нам велят, терпим смехотворное занятие, называемое работой, распутываем какие-то паршивые хлопковые нити, делаем все, что вы придумали нам в наказание. Почему бы и нет? Если хотите, мы станем сшивать попарно травинки и пилить воздух. Мы с удовольствием примем бессмысленность этой работы – как символ бессмысленности вашей власти.

Я сижу на скамье, жду короля шутов. То, что я называю «я», испарилось из меня, словно вода из лейки. Я – и мир: это лишь два названия одного и того же. Бога я не боюсь: мы с ним сосуществуем, взаимно принимая друг друга к сведению. Я охотно пушу сюда, на скамейку, отшельника или брата-уборщика; захоти сесть рядом епископ, я отодвинусь подальше. Но больше всего я бы рад был тому бледному раввину, который знал, что и смерть – лишь ступень на стезе любви. Ты приветствуешь друга, когда он приходит, но не допытываешься, существует ли он. Хорошо откинуться рядом с ним на спинку скамьи; вокруг него – тишина и покой. Он молчит, у него даже притч нет в запасе: он столько всего нарасказывал в молодости. Слова обычно берут истину в плен; в распоряжении у нас весь словарь, но избранных слов – немного. У раввина здесь, на скамье, нет охоты выбрать хотя бы одно. Я улыбаюсь невольно: гость подумал что-то забавное. Я не удерживаю его; я знаю его слабое место: это – внимание, которое на кружном пути вокруг света устремлено на самого себя. Это скорее – собственный свет, чем свет, излучаемый миром. Начинается веселье; сознание, словно кошка, ловит собственный хвост. Устав от этого занятия, я смотрю сквозь себя, как сквозь оконное стекло, слегка грязноватое.

6

Мое сознание называет предмет, помещает его в рамку, потом убивает. Оно не к тебе обращается: оно говорит о тебе; потом и о тебе перестает говорить. Перелистав то, чем уже овладело, оно влюбленно кружит вокруг того, что ему не принадлежит еще. Разум мой принимает в свою партию все человечество, потом по очереди исключает членов, в конце концов – и самого себя. Если к себе хорошо приглядеться, я и на себя не смогу смотреть.

У сознания моего – никакого желания умирать. Оно норовит стать независимым от меня; от меня, кому грозит неминуемый скорый распад. Запертое в мой мозг, оно визжит и впадает в истерику, оно стремится умножить себя, устремляясь в бесконечность; смерть для него – лишь дурацкое препятствие на пути. Принять смерть как выход оно неспособно; разве что покориться ее неизбежности. Все его речи о стоицизме – не более чем лицемерие. Даже смирившись, оно просто перемахнет через нее – и проглотит, не подавившись. Это все равно, что тигра кормить шпинатом: он, сжавшись, словно пружина, взвьется в воздух – и вот уже раздирает на клочки самого Бога. Ничего тут не поделаешь: хищник.

Бог – это сумма явлений. Он начинается там, где кончается мироздание. Он – не душа, просвечивающая в вещах, а отрицание их. Когда величайшее знание дойдет до границ себя самого, оно тем самым себя уничтожит. Если оно ведает лишь о себе, оно сходит на нет. Богу нужен другой Бог. В бесконечном ряду удвоений и под ним, и над ним – боги, которые видят дальше самих себя.

Если Бог – это покой, обретение светлого дома, откуда не нужно никуда выходить, если я тем ближе к нему, чем в большей степени присутствую в настоящем, – то зачем гнаться за благами? Иногда у меня ощущение, будто я лишь подражаю творцу, который перемешал

добро и зло, который слишком уж человечен, словно какой-нибудь гендиректор. Мне хочется уволиться с его предприятия.

Давай, Господи, снова приступим к переговорам. Ты аннулируешь смерть, разрешаешь, даже поощряешь прелюбодеяние, мы же чтим тебя, как отца-пенсионера. Мы, Каиново семя, размножились и рассеялись по земле, мы сверх меры умны: пора тебе заключить с нами новый общественный договор. Но уж потом, будь добр, чтоб никакого беспредела! Тот раздражительный, краснолицый старый господин, что грозно щелкает ореховой тростью, право же, уже немного смешон. Из этого нервного дома перейдем в дом наличного бытия, где нас уже ожидает мать.

Возможно, иного и не дано: или по-восточному комфортно расположиться в смерти – или, на западный манер, бегать от нее, пока она тебя не догонит. Там я отождествляю Бога с пребыванием в неподвижности, здесь – с образом цели пути. С востока на запад, с запада на восток, от матери к отцу, от отца к матери. По дороге, сбившись в кучку с прочими осужденными, ты делишься накопленной мудростью: и я – фиаско, и ты – фиаско; господи, как же плохо мы получились! Уж точно, мы совсем не так совершенны, как отец наш на небесах. Давайте смотреть на звезды: вдруг как раз в эту минуту на Земле родился какой-нибудь ироничный младенец, который, еще в пеленках, взглянет на нас – и уж точно не ошибется.

Что нами правит: вселенский закон, гендиректор или пусть мое лучшее «я» – не все ли равно. В трудные моменты, когда хочется перестать быть, исчезнуть – лишь бы не ощущать человеческий запах, – я, порывшись в секретере самосознания, достаю оттуда имя Бога, чтобы оно связало меня с затхлой средой моей родни. Бога я представляю как меру максимальной свободы; у меня нет более грузоподъемной мысли, чем он. Я могу творить добро, могу избегать зла, могу чистить свое мышление. В моих силах не делать другим то, чего я не желаю себе. Если я приму решение против Бога, то навсегда замкну себя в тюрьму государства: то ли как заключенный, то ли как надзиратель. Если – за Бога, то вся система исполнения наказаний окажется преходящим обманом чувств; чего не скажешь о молоке или о Млечном пути.

Сознание обращается к самому себе и высвобождает себя, словно дернув кольцо парашюта. Я нахожусь здесь, в этом мире; может быть, на выходе; прощание – это знакомство. Все, что я делаю, есть удвоение мира; от зари до зари я только и делаю, что формулирую бытие. Слова – темны, я обхожу текст, словно ветхий забор; там, за ним – понимание.

Я могу утаивать истину от своих глаз, только сам спрятаться от нее не могу. Я согласен, Господи, ты – сам свет; но боюсь, что ты не способен отделить себя от света. Темнота – всего лишь различие в интенсивности освещения; тут, в темноте, у меня вполне сносное обиталище, тут я могу копошиться, пока достанет сил. Мох зеленеет на ржавой кровле, шуршит в пасмурную погоду дождь, птицы сидят под стрехой; тут господствует чистота, и меня не тянет отсюда.

Если я работал хорошо, я просто затеряюсь в мире; но если случится дефект, значит, скоро придет мастер по ремонту. Хватит всего лишь трещинки шириной с волосок – Бог явится тут же. Там, где мир трещит по всем швам, он возникает из круговорота явлений, как учитель с морщинистым лицом, который в местном хоре поет партию тенора. Или как узкогубая гувернантка, которая знает правила хорошего тона, но это не значит, что я от нее в восторге. Боюсь, его удел – «надо», а это куда скучнее, чем – «есть»: дух или валяет дурака, или воспитывает. Мы, люди, компания несерьезная, больше всего нас беспокоит, достаточно ли смешным будет следующий акт. Если в аду веселее, нам хочется в ад.

В плоти тьмы я в общем неплохо освоился; но все равно, будьте добры, выньте меня отсюда, я не хочу быть светом, не хочу, чтобы меня искупили; у меня только серый кафтан, маэстро. Сознание – закоренелый доносчик: оно доносит на вещи; если не прямо, то тем, что дает им имена; слово – кляуза на предмет. Картошка в земле ни на кого не доносит; полежит там, порастет, потом ее слопают. Тот, кто находится на берегу тьмы, заведомо готов сдать: кушайте, кушайте, меня еще много. Я нужен в твоей игре, маэстро, ведь без меня и тебя не

было бы. Ты опускаешься на меня, будто птица на ветку; но с какой стати дереву захотелось бы превратиться в птицу? За обильным нашим столом ты – довольно скучный гость, ты отказываешься даже отведать наготовленных блюд, предпочитая говорить о других что-нибудь плохое. Кладбище – не ахти какое чудесное место, но ты, маэстро, даже скучнее, чем кладбище.

Мне бы ужасно хотелось, Господи, чтобы я не в состоянии был загнать тебя в угол, чтобы ты был хоть чуточку содержательнее, чем незатейливый разговор, что ведут меж собой, встретившись в булочной, домохозяйки, которым хлеб важнее, чем весы. Соприкасаться можно лишь с весьма ограниченной частью явлений. Бог – это бог, об однозначном я не могу говорить многозначно. Может, ему и самому скучно в собственном свете, скучно, даже находясь среди нас; может, ему бы хотелось, чтобы мы еще сильнее отличались друг от друга. Но для этого каждый из нас должен найти для себя единственную тропу, которая, по всей вероятности, проходит там, где вообще нет дороги.

Бог живет только в мироздании, только погружаясь в этот свой неудачный эксперимент: выше него он и сам не способен прыгнуть, как выше собственного носа. Мироздание, понятное дело, находится снизу. Там же находимся мы, те, кого туда бросили; гумус истории, все, кто не удался, да и не мог удался. Над нами парит школярский идеал совершенства; для моего сознания мое тело – всего лишь ошибка. Я покоюсь в навозе собственной глупости, набухая и выпуская ростки: меня постоянно хоронят, машут шляпой, прощаясь со мной; не странно ли, что меня можно хоронить снова и снова? Язык в нашем мире теряет живость, он не в силах свершить ничего, кроме как обозначить отношение между словом и вещью. Имя твое, Господи, есть обобщение языка. Все, что я говорю сверх того, – несогласие. Прости, я знаю, нельзя всю жизнь бороться с тем, кого нет.

7

Тибола, бывший прокурор, после революции много трудился над тем, чтобы и мне помочь перебраться на тот свет; но здесь, в клинике, мы свыклись друг с другом. Я смеюсь, когда он, кривляясь и ерничая, выпытывает у меня подробности моей противоправной деятельности и требует для меня смертной казни. Во время революции он прятался в пустой винной бочке, хотя никто его не искал; в результате он подхватил ревматизм и стал злобным и мстительным. «У меня на счету семнадцать повешений, – говорит он, словно речь идет о пустых пивных бутылках. – Восемнадцатое, – он показывает подбородком в мою сторону, – из-за политики сорвалось. Будь моя воля, ваше благородие не загорало бы сейчас тут». Бывают дни, когда я не в силах разговаривать с ним; тогда он всячески подлизывается ко мне, стоит мне сунуть в рот сигарету, первым бросается дать огоньку. Палинка пробуждает у него чувство юмора; иногда я угощаю его из своей плоской фляжки; сначала отпиваю я, остальное – его. В клинике он – единственный, после кого я не могу заставить себя приложиться к горлышку.

В зале судебных заседаний Тибола не смотрел на меня, свинчивая и навинчивая колпачок самописки; он даже не повысил голос, когда требовал для меня высшей меры. Несколько месяцев меня окружала лишь темнота камеры, и сейчас, в зале, в пучке света, косо падающем из окна, даже заплесневелое лицо Тиболы стало для меня увлекательным зрелищем. Из всех ипостасей моей личности его интересовала только одна – моя смерть; да и она – лишь в том плане, что позволяла поставить точку в конце длинного судебного дела. Мне свело желудок; я поднял взгляд на часы. Суд удалился на совещание; жена моя вместе с публикой вышла в коридор, но стража разрешила ей перед уходом дать мне чаю из термоса. Продолговатый мозг мой коварно ныл; каждый щелчок, отмеряющий очередную секунду, был единственным и неповторимым. Если в одиннадцать мне вынесут смертный приговор и сообщат, что в помиловании отказано, то в час дня, самое позднее, я буду повешен.

Шарканье каждой пары ног по плиткам коридора я слышу отдельно; вместе с другими обвиняемыми, пять серых кеглей, мы ждем, когда до нас докатится деревянный шар. Мой друг – тоже претендент на петлю; на бетонном дворе, пахнущем кухонными помоями, мы с ним станем похожи до мозга костей. Мысленным взором я вижу за дверью свою жену: ногти вонзились в ладони, взгляд устремлен куда-то сквозь стену; сейчас она – словно собственная гипсовая копия. Публика косится на нее сбоку; так смотрят на вдову, идущую позади катафалка с венками. Звонок; мы каменеем, возвращаясь в установленный ритуал. Именем Народной Республики: двенадцать лет, десять лет; затем мое имя: пожизненно. Что за счастье; мы с другом переглядываемся: пронес ло. В наших краях ледниковый период продолжается пять-шесть лет, с новой оттепелью придет амнистия, так что лет через семь мы будем сидеть в кафе, за мраморным столиком, есть на завтрак яичницу с ветчиной.

Тибола кивает: он принял приговор к сведению. Вешали в основном рабочих: из них выходило больше всего вооруженных повстанцев; интеллигенты чаще посылают стрелять других, чем стреляют сами, а петля за слова – слишком суровое наказание. Однако Тибола знал, что за неделю до этого – надо было как-то выравнять диспропорцию в классовом составе казненных – повесили одного моего друга. Из тех же социологических соображений меня хотели послать следом за ним; но был один звонок. Судья мог бы ему тоже об этом сообщить. В тот вечер Тибола выпил в одиночку пол-литра рома; во всяком случае, так он мне рассказал сейчас.

Впрочем, если в тот самый день под стеной желтого классицистического здания, в одном из дворишков тюрьмы, ему довелось бы командовать моей казнью, – он все равно бы напился. Позже он признался: ему было любопытно – чисто как коллекционеру, – что я выкрикну в последний момент перед смертью. Будучи осужденным пожизненно, я провел в той небольшой тюрьме несколько месяцев; на рассвете – топот сапог, потом тонкий, срывающийся голос: «Братцы, не забывайте меня!» Крики «да здравствует» звучали редко; в нашей истории всякое понятие с большой буквы – только подрыв доверия. Мы были лучше своих палачей, но последнего лозунга у нас не было.

Финальная сцена, как правило, получалась эффектной. Тюремное начальство знает, что осужденный все равно будет что-нибудь кричать, и терпимо относится к этому: пускай душа, прежде чем отлететь, взбрыкнет напоследок. Тот, кто еще способен кричать в голос, к месту казни идет на своих ногах, не визжит, как свинья, его не нужно волочить по булыжнику, как мешок. Это и на остальных действует отрезвляюще; лучше, если осужденный получит возможность проститься, чем если вся тюрьма будет сходить с ума. Со двора в открывающиеся к небу окна долетают слова команд и голос осужденного; вся тюрьма слушает, замерев, дыша словно единой грудью. Для того, кого рано утром выводят на прохладный двор, близкие – это уже только мы. Мы садимся на нары: мы, получившие большие сроки, и среди нас – те, кто ждет своего утра; призрачными своими телами мы окружаем нашего товарища до последней минуты.

Странно все-таки: семейные люди, получающие зарплату, в рабочее время убивают других людей, которые им ничего дурного не сделали. Главный палач, полковник, натягивает белые перчатки и полотняным колпаком закрывает лицо нашего товарища. Его подручный, который еще в камере снял мерку с шеи приговоренного, одну веревку накидывает ему на шею, другой связывает ноги – и выбивает из-под него скамейку; второй подручный дергает веревку, перекинутую через блок. Шейная артерия сдавлена, мозг не получает крови, сердце перестает биться. Вырывается ли через расслабленные кольцевые мышцы содержимое внутренностей – это уже другая история, не наша. Главный палач дает знак врачу, в стетоскопе – полная тишина; главный палач стягивает колпак, опускает еще теплые веки – и жестом хирурга, закончившего операцию, стягивает белые перчатки. Потом отдает честь прокурору: двое слепо уставившихся друг на друга государственных слуг, два уголовно-процессуальных призрака; через четверть часа они чокаются рюмками с коньяком.

Лобное место внедрилось в голову Тибола, в пространство между висками, и после стольких повешений оживлялось от палинки. В воображении Тибола вешал всех, кто его хоть как-то обидел. В красочных видениях жена его тоже стояла на скамеечке под петлей; жена, которая дома, в постели, не стеснялась показывать ему свое отвращение. Тибола хватал пистолет, заставлял ее встать перед ним на колени, просить прощения; но и после этого она не любила его сильнее. Он ревновал жену ко всем, от почтальона до трубочиста; лицо мужчины на улице, кивнувшего ей, становилось эмблемой его позора. Он хотел слышать подробности, и жена под дулом пистолета сочиняла любовные истории одну за другой, но сценарии, рожденные воображением, повторить с мужем не хотела ни за что. И тогда шесть пистолетных пуль вонзились в пуховое одеяло вокруг ее тела.

Шутка, шутка это была, оправдывался Тибола. Его не посадили, но из прокуратуры выгнали. Теперь он пьянел уже от одной рюмки. На новой службе он с утра потел, его мучили кошмары, и он, не выдержав, сбегал в корчму. В середине дня, кто бы и что бы ни говорил ему, он только отмахивался. Потом Тибола стал ночным сторожем на лесопилке, за бутылку вина закрывая глаза на все, что везли со склада машины; лишь умеренный аппетит воров помешал им растащить всю лесопилку.

Расстановка сил изменилась и дома: врезав своей крупнотелой жене под глаз, он получил ответ в тройном размере. Ослабев, брел на кухню, шарил по ящикам, бестолково ища нож; в конце концов, стоило только жене поднять руку, он принимался плакать. Жена завела роман с молодым грузчиком, перевозившим мебель, и последовательно перепробовала с ним все то, что до сих пор было лишь плодом ее воображения. Сколько она ни запрещала мужу приходить домой до полуночи, Тибола, впадая в неистовство от долгого воздержания, колотил кулаками в дверь и грязно ругался. Чтобы он не тревожил соседей, жена и любовник стали закрывать его в одежный шкаф. Тибола и там вопил, как осатанелый болельщик, который ненавидит обе команды. А однажды вечером, когда все кончилось, он отказался вылезать из шкафа. «Раз ты меня сюда заперла, это и будет теперь мое место». Он ходил под себя, на стоящую в шкафу обувь, надменно взирая на зимние пальто, свои и жены. Вонючего, с острыми коленками Тиболу выволокли из шкафа санитары; в машине, чтобы он не вскакивал, они наступали ему на пальцы ног, благо он был в одних носках.

«Никакой я не душевнобольной, – шепчет он мне на ухо, – просто характер у меня слабый. Может, и вообще его нету; может, и не было никогда. Ведь что такое – характер? Это если ты делаешь то, что сам считаешь правильным. Вот только я правильным всегда считал то, что начальство считало правильным. Чем больше я его боюсь, тем становлюсь послушнее. Я и тебя вон чуть не повесил, а теперь, если прикажешь, я дорожку в саду языком вылижу. И если ты думаешь, что мне стыдно, то глубоко ошибаешься. Никто не знает, что такое истина, а потому всегда прав тот, кто сильнее. Для меня каждый, кто способен меня по шее огреть, – полубог; но у них ведь сразу подозрение появляется: а вдруг я дурака валяю. Если б они хотя бы все одного хотели! Я всегда выполняю последний приказ, а из-за этого кто-нибудь обязательно на меня сердится. Для карьеры тоже ведь нужен какой-никакой характер. Вот хотя бы тут – что? Стоит мне стаканчик вина выпить, сиделки обязательно учуют по запаху. Ну, а я – я не могу устоять и не выдать, кто меня угостил. И на следующий день мне такое приходится вытерпеть! Великомученики рядом со мной – маленькие дети Попросил я как-то у директора отпуск. Знаешь, что он мне ответил? „Тибола, говорит, вы же тряпка. И дня не пройдет, как вас привезут обратно. Радуйтесь, что здесь вас терпят. В первое воскресенье каждого месяца будете получать бутылку вина – только убирайтесь с ним куда-нибудь в парк, подальше, там можете напиваться“».

«Вот я тебя чуть в петлю не отправил, а сейчас готов в пыли валяться перед тобой: топчи меня, вытирай об меня ноги. После этого я тебя не так сильно буду бояться. А если ты на душевные муки меня обречешь, то я что подумаю: черт его разбери, и почему это его не пове-

сили? Если же ты меня мучить не хочешь, то пожалуйста, поцелуй меня, прямо сейчас, в губы. Скажи, ты не боишься, что я как-нибудь подкрадусь сзади и шарахну тебя по голове кирпичом?» «Да ты ведь, если и подкрадешься, примешься кашлять, только чтобы я обернулся». Он хохочет, закрыв ладонями лицо, потом, тряся кулаком, убегает. А через десять минут снова околачивается у меня за спиной. Я не прогоню его, если он сядет рядом, пускай; в том, что он такой ненадежный, есть какая-то своя определенность.

8

Над черной линией – яркое синее пятно. Веки Ангелы – художественный шедевр, но на переносице тушь размазана, потеки тянутся вниз, к губам. Морщины, следы греха, стали каналами – горькими каналами слез. Она снова, уже в который раз, рассказывает толстому Калману и мне, что муж ее целый день играл на трубе, а она плакала: ей очень хотелось, чтобы он с ней поговорил.

Но трубач и не думал отрываться от своего инструмента, лишь через плечо бросал ей что-нибудь вроде: «Не могу я голос твой слышать, он уши мне режет. Чем меньше тебя видно и слышно, тем легче мне тебя выносить». Ангела сидела перед зеркалом, красилась, потом встала. Муж поднял на нее глаза, лишь когда она, наклонясь к его уху, сказала: «Милый, сейчас тебе наконец придется отложить трубу. Я ребенка выбросила в окно».

Муж бросился на улицу – и никак не хотел выпускать из рук мягкое, с разможженными костями детское тельце. Санитары едва оттащили его от дверцы приехавшей труповозки. Потом он поднялся в квартиру, где было полно полицейских, и посмотрел на жену. Он не тронул ее и пальцем, не сказал ей ни слова. Лишь стоял, грызя стиснутый кулак, потом потерял сознание. «Это он во всем виноват, – заявила Ангела, надевая самый дорогой свой браслет. – Я – красивая, но не очень умная. Не сумела привязать к себе мужа», – заключила она свои показания.

«Я тоже не слишком умный», – говорит Калман, и в этом он прав. Весит он сто двадцать килограммов, и любая необходимость перемены места ввергает его в глубокое уныние. «Если бы я не так сильно ненавидел прогулки, на мне бы не было столько жира. Ну, это ничего, я привык, что я такой». Его утомляет даже процесс мышления; прочнее всего его держит в плену идея сладостей, но тут он полностью зависит от доброты остальных, потому что лакомство как награда полагается лишь тому, кто работает. Ангела угощает его красными леденцами; растроганный, он роняет изо рта струю красной слюны. «Кулечка леденцов мне на целый день хватит плеваться. Самый лучший способ, чтобы похудеть. Только жаль мне таких сладких слюней, лучше я их проглочу».

«Люблю, когда на мне лежит кто-нибудь, – мечтательно говорит Калман. – Я ведь мягче, чем любая баба. У нас в палате старик один есть, он иной раз ляжет на меня, ничего не делает, просто отдохнет немного, потом уходит обратно к себе на постель. У меня детство было счастливое, я до пяти лет мамкину грудь сосал. Бывало, подойду к мамке, она грудь выпростает, грудь у нее большая была, больше, чем моя голова, и сосу, а она картошку чистит». «У меня грудь тоже большая», – заявляет Ангела. «В ней уже молока нету, а без молока – неинтересно», – машет рукой Калман. «Вы тоже не хотите?» – поворачивается ко мне Ангела. «Спасибо, как-нибудь в другой раз». «Что-то мне тоскливо! – жалобно говорит Калман – Может, расскажешь мне рецепт торта какого-нибудь?» «Миндальный хочешь?» Его глаза-пуговицы устремлены на меня. «Хочу!»

9

Меня трогает за плечо попрошайка: «Хлебца не осталось от завтрака?» Осталось; я специально припас для него. Он кладет огрызок в суму, перекинутую через плечо; с этой сумой он даже спит, так ему спокойней. Спать он ложится в полной готовности, не снимая пальто, в носках, в суме у него иголка с ниткой, лекарства, все необходимое – на случай, если за ним придут на рассвете. Ночью он бродит по палатам, иных дергает за ногу: «Случайно хлебца не найдется?»

Страшась тюрьмы, он семь лет жил впроголодь: чтобы не сломаться от голода, если посадят. Но в тюрьму ему удалось попасть только после 1956 года, и тут, на тюремном пайке, он даже округлился. Ему никогда не доводилось иметь дела с женщиной: «Моя цель в жизни – чтобы матушка моя была счастлива до последнего дня». Когда его выпустили, он сожрал все, что нашел в кладовке у матери; отыскал даже печенье, спрятанное за томами энциклопедии. Наевшись, влез на кухонный шкаф и стал произносить зажигательные речи, обращенные к революционным массам, толпившимся между газовой плитой и мойкой.

Матушка обратилась сначала в полицию, потом к психиатру: она даже готова платить что-нибудь из своей скромной пенсии, лишь бы сына держали где-нибудь в казенном заведении. В белых перчатках, с перманентом в реденьких волосах, она изредка навещает его, привозит гостинец – буханку хлеба. В такие дни попрошайка выглядит растроганным, а после этого произносит длинные речи. «Знаете, великое это дело – предусмотрительность. Вот придут ко мне, скажут, мол, давай на выход с вещами, а я только усмехнусь. Хлеб со мной, засох немного, но ничего, как-нибудь прожую». Мы с ним друзья. Когда он обращается ко мне со своей обычной просьбой, на лице у него покровительственное выражение, словно у какого-нибудь опального герцога. Остальные больные тоже над ним не смеются. Он чувствует, когда в нем нуждаются; если я сижу, понуриив голову, он возникает, будто по мановению волшебного жезла, и касается моего плеча: «Сделайте милость, возьмите у меня немного хлебца».

10

Бела всегда ходит в майке, открывающей сильные руки в татуировке; правосудие давно уже у него в печенках. Однажды на заводском грузовике, на котором работал шофером, он отвез домой пару тонн бутового камня. Его бы отпустили, если бы взгляд полицейского, проверявшего у него документы, не упал на башмаки Бела: на носках было нарисовано по красной звезде. На судебном заседании судья спросил парня: «Что у вас на обуви?» «Это – моя путеводная звезда», – гордо ответил Бела. Судья подумал, что обвиняемый или дурак, или смеется над ним, и решил, что скорее – второе. Бела получил за хищение полтора года.

В тюрьме его усадили на трехногую сапожническую табуретку. Бела терпеть не мог чинить башмаки. Но тщетно он ходил на аудиенцию к начальнику: другой работы ему не давали. Сокамерник, человек более опытный, подсказал один ход: надо добиться, чтобы Белу переквалифицировали по политической статье, тогда он наверняка избежит сапожничества. Пусть напишет какое-нибудь дерзкое письмо о тюремных порядках. Два дня Бела скрипел пером: тюремное заключение губит душу, человек, выйдя на свободу, как правило, рано или поздно сюда возвращается, а государство таким путем обеспечивает себе бесплатную рабочую силу. Надзиратель передал его письмо начальству.

За подстрекательство к бунту Белу и его сокамерника в наручниках и полосатых робах снова доставили в суд. Сокамерник показал: да, Бела зачитывал ему свои клеветнические измышления, от которых ему, сокамернику, было просто не по себе. Он пытался образумить Белу, но тот словно остервенел: никаких слов слушать не хочет, злобой пышет против народ-

ного строя. Беле добавили еще год, причем в той же сапожной мастерской; обвинение против сокамерника прокурор снял. Освободившись, Бела разыскал предприятие, где тот работал, и рассказал эту историю остальным; тюремного провокатора вскоре постиг несчастный случай на производстве. Белу вызывали в полицию, советовали забыть эту тему, но он твердил, что им руководит внутренний голос. Психиатр поставил диагноз: параноидальная шизофрения. На каждом медицинском осмотре Бела принимается рассказывать про своего сокамерника. «Интересно, – отвечают ему, а в истории болезни пишут: – Нуждается в дальнейшем лечении».

«Забудь ты эту историю! – говорю я ему. – Лучше в другой раз будь умнее, не давай себя обдурить». «Так что же, если доктора будут спрашивать, не говорить им, что ли, как я сюда попал?» «Не говори. Они и сами все знают. Скажи, что, если тебя домой отпустят, ты будешь вести себя нормально». «В общем, помалкивай?» «Помалкивай». «Иисус Христос тоже так учил?» – с обезоруживающей серьезностью спрашивает он. «У него свои дела, у тебя – свои. Бывает, что лгать нельзя, бывает, что приходится». Бела, открыв рот, напряженно думает. Боюсь, пока он научится обманывать начальство, кислое тепло сообщества падших станет ему привычным, как родной дом.

Стволы деревьев в парке испещрены любовными признаниями Лици и Мици. Прежде чем стирать сброшенные рубашки Белы, они погружают в них лицо, вдыхая запах его пота. Они ссорятся между собой, кому стричь ногти у него на руках. К счастью, у Белы две руки. Лици – худышка, Мици – толстушка; на продавленном диване в вестибюле они устраиваются у Белы под мышками, одна справа, другая слева, и, что бы он ни сказал, дружно кивают, соглашаясь. «Что я, идиот, что ли, на психушку вкалывать? И так, и так будут держать. В дерьме мы живем, Лици и Мици, это я вам говорю. Я вот сбежал, меня поймали, теперь покончу с собой». Девушки и с этим согласны, они только хотят умереть втроем.

Лици до этого обреталась в подвалах с бездомными стариками, в постели грозила партнерам, что покончит с собой, и те старались от нее поскорее избавиться. Она уже прыгала со строительных лесов, с моста; смерть щадила ее тринадцать раз. Мици, когда у нее депрессия, мочится в постель. Так что у нее есть свои причины бояться быть брошенной: она же в постель мочится. Дольше всего ее терпел один молодой цыган, но однажды и он пришел в отчаяние: «Я ревматизм заработаю на этой простыне, которая кошками воняет». И ушел к чистоплотной вдове. Мици достала водяной пистолет и брызнула обоим в лицо серной кислотой. В тюрьме она глотала ложку, пыталась перекусить артерию у себя на запястье. Здесь, в клинике, они неразлучны; иногда Мици садится на Лици, та кусает ее за задницу, но через каких-нибудь полчаса они уже целуются. Все романы у них общие; Бела, с тех пор как они вечерами утаскивают его, все больше теряет в весе.

У всех троих есть по лезвию безопасной бритвы; когда наступит момент, они разломают его на кусочки и проглотят. Слух об этом бродит по клинике; в один прекрасный день приходит директор с тремя скальпелями. «Вот вам, пожалуйста. Эта штука распорет кишки лучше некуда. А это ключ от мертвецкой, глотайте там». Вечером будут танцы, я предлагаю им бутылку вина, пускай забьются с ней куда-нибудь. «А с бритвой торопиться не стоит. Ешь, пей, радуйся своим женам, пользуйся каждым днем никчемной своей жизни», – наставляю я Белу. Он колеблется, смотрит на меня с подозрением: вдруг я тоже – сообщник начальства?

11

«Садись, старина, тут ты в безопасности», – говорю я главному редактору. Он прячет огрызок карандаша, бумажные лоскутки, на которые тайнописью заносит какие-то мысли. Перед тем как его сюда привезли, он чуть не месяц в панике звонил жене: прощай навеки, внизу ждет машина, он догадывается, куда его собираются увезти. В самом деле, внизу стоял служебный автомобиль, и каждый вечер, после сдачи номера, редактора доставляли к нему

домой, в виллу с садом. Дома он разражался истерикой: «Двадцать лет я каждый день пишу по двадцать страниц вранья. Я кастратом ради вас стал. А вам на меня плевать, я же вижу». Однажды он написал донос на самого себя: он столько лет восхвалял режим, что незаметно возненавидел его. Если его не посадят, он за себя не ручается: выскажет все, что думает.

«И что ты собирался высказать?» – спрашиваю я. Он испуганно отодвигается подальше, кивает на пропахшего мочой каталептика. «Осел! Ты бы радовался, что хоть у душевнобольных есть свобода мысли». Нагнувшись ко мне, он шепчет на ухо: «Лучше вообще ни с кем не разговаривать. Пока оно здесь, – он стучит себя пальцем по лбу, – все будет в порядке». «Ну вот, видишь, ты уже выздоравливаешь. Только молчать – недостаточно. Напиши на меня донос! Тогда они поймут, что ты по-настоящему выздоровел». Он потихоньку уходит и прячется за колонну.

На последнем совещании, которое он проводил в редакции, он сел по-турецки на пол; журналистам ничего не оставалось, как последовать его примеру. Не договорив очередной фразы, он забрался под большой персидский ковер и запричитал оттуда: «Вот я пресмыкаюсь тут, под ковром, и все напрасно. Господи, ты смотришь сверху и видишь: вот лживый человек, который пресмыкается под ковром». «Те прятки были самым большим подвигом в твоей жизни», – говорю я, обращаясь в полумрак вестибюля. Он выходит из-за колонны, садится рядом. Подвиг – все же больше, чем ничего. Мы молча созерцаем других сумасшедших.

К нам, шаркая башмаками, подходит старик крестьянин; сил у него еле хватает, чтобы передвигаться на своих ногах. Он усаживается рядом со мной, я спрашиваю, как дела; он отвечает, как обычно: было у него, давным-давно, дерево ореховое да теленок; дерево засохло, теленочка закололи, а сам он помрет вскорости. Зачем ему жить, коли нет у него ничего? Да еще и друга он потерял.

Несколько лет старик бродил по вестибюлю туда-сюда: пахал, копал, лошадь погонял. И все приговаривал: «Вскопаю землицы под фасоль, соберу картошки мешок, потом травки накошу вдоль насыпи». А рядом ходил другой старик; раньше он был рабочим, но жил в деревне и каждый божий день ездил поездом в город. Он и тут, в вестибюле, все время был с сумкой и бормотал беспокойно: «На станцию бегу, поезд через десять минут отходит». Какое-то время старики не замечали друг друга: один косил, другой на поезд торопился.

Но однажды они случайно столкнулись и, взаимно прося прощения, понравились друг другу. И с тех пор стали неразлучны. Разговор поддерживать им не надо было: каждый занят был своим делом. Один направлялся в хлев, где ревела голодная скотина, другой спешил на станцию, где уже свистел утренний поезд. Как-то старик рабочий дольше обычного сидел в уборной, а крестьянин в это время топтался в растерянности перед дверью. Наконец в отчаянии он схватил меня за рукав. «Уж не сердчайте, что-то тут не так. Приятель мой в сортир зашел на станции, поезд вот-вот тронется, поторопить бы надо его». Видно было, что он очень встревожен; я успокоил старика: сейчас пойду, попрошу машиниста, чтобы подождал с отправлением. За это он обещал принести мне свежей сметаны.

Как-то утром, по дороге на станцию, старик вдруг остановился, покачнулся и молча упал: разрыв сердца. С того дня крестьянин не копает, не косит. Он сидит с нами на скамье; даже в полдень, на припеке, ему зябко, он все больше ежится и горбится. Лишь иногда, слыша далекий гудок паровоза, он оживляется и поднимает к небу кривой указательный палец.

13

К нам подсаживается великан Шаму; он все еще немного пришибленный. Недавно он совершил побег, а вчера санитары доставили его обратно. Шаму угрюмо выбрался из машины, даже скулящую Мальвину оттолкнул: нечего к нему лезть, никто ему не нужен сейчас. Густые отросшие волосы совсем закрыли узенький лоб; он мрачно вытер о свои галифе огромную,

как тарелка, ладонь. Пилигрим с лошадиным лицом, овеванный густым ароматом портянок, уныло оглядел неприглядную нашу компанию. Сумасшедшие обступили его, словно цыплята – передник с карманами, тяжелыми от кукурузной крупы: от Шаму даже в таком виде пахло свободой.

Мы, конечно, сочувствовали ему, что побег закончился неудачей, но и радовались, что он снова с нами. Домой мне пора, часто повторял он минувшей зимой. Дома у него – винный подвальчик с прессом, виноградник, который пора обрезать; он и на поденщину бы пошел, к соседям, виноград окапывать, обрабатывать: сил, слава Богу, пока хватает. Что верно, то верно: мы, бывало, втроем корячимся, держа один конец бревна, а он под другим вышагивает прямой, как тополь. Пришлось ему здесь оставаться, в психушке: власть и Шаму – вещи несовместимые.

В 1945 году мужики в его деревне провозгласили независимую республику. Шаму как бывший гусар стал командовать конной стражей. Когда к ним явился вооруженный комитатский начальник, Шаму так врезал ему в ухо, что ему же пришлось на своих плечах тащить того в подвал сельской управы, где была устроена временная республиканская тюрьма. После разгрома республики начальник, открыв дверь подвала, поманил к себе Шаму. «Черт бы тебя взял, сынок, с твоими лапищами», – и изо всех сил пнул гусара под зад. Связанный Шаму скатился по лестнице, грохоча, словно двустворчатый шифоньер. «Культурный был мужик, – вспоминает его Шаму, – ступней меня пнул и не интернировал потом».

Шаму даже нарезали надел земли. Вместо лошади он сам впрягся в постромки, за сохой шла его беременная жена; год спустя у него были уже и корова, и лошадь, и собственный виноградник, ветерок качал на ветке ренклода колыбельку, которую Шаму сплел для своего сына. Однако идея исторического прогресса так и не смогла угнездиться за его низким лбом. Шаму не в силах избавиться от навязчивой привычки задавать лишние вопросы. Он обожает групповую психотерапию – и, о каких бы возвышенных темах ни шла речь, обязательно возвращается к своему, доводя бледных психологов до исступления. «Если уж дали мне этот клочок земли, то зачем потом отобрали? У меня в руках ей хорошо было, я ей и навозу из хлева давал. Вот и скажите мне, господин учитель, зачем коммунисты над мужиком измываются?» Психолог нервничает: «Куда вы все гнете? Разве об этом у нас сейчас речь? Учитесь – и все поймете со временем». Шаму непоколебим: «Может, вы, господин учитель, мне все ж таки объясните. В шестидесятом въезжает ко мне во двор грузовик, в нем – сплошь ученые люди. Я – руки за спину, кабы чего не вышло. А они мне – карандаш красный в зубы тычут: мол, подписывай заявление, и все тут. Очень уж эти ученые господа за кооператив были». Я вмешиваюсь в разговор: «Ну, тыкали и тыкали, что было, то было. А ты, Шаму, политику брось, она и так тебе уже боком вышла». Дискуссия наша, которая начинается с единоличного хозяйства, заканчивается обычно электрошокком.

Воспоминания двадцатилетней давности не дают Шаму покоя. Была страшная засуха, он ведрами перетаскал с реки бог знает сколько воды, и на его земле все уродилось лучше, чем у других. Обязательные поставки он выполнил, остальное закопал. Однажды ночью явилась госбезопасность, запасы вырыли, на дне ямы еще и пистолет нашли. «А как же ему там не быть, – согласно кивал Шаму, – если вы его туда положили». Председателя сельсовета попросили выйти из кабинета. Вернувшись, он молча пошел за тряпкой: вытирать с пола кровь. Шаму, что получил, вернул с лихвой; но в конце концов его оглушили, ударив по затылку чугунной лампой. «Люди они неплохие, могли ведь и застрелить», – говорит он; справедливость ему дороже всего.

Под разбитым черепом образовалась гематома; с тех пор Шаму слегка неменяемый. Когда мы с ним одни, я пытаюсь урезонить его. «Ты ведь все ответы, Шаму, знаешь лучше директора. Не донимай ты их своими вопросами. Если хочешь насчет политики потолковать, ко мне приходи». «А чего мне к тебе идти? Ты что, злиться не будешь? Ты ведь тут тоже из-за политики». «Шаму, ты совсем ненормальный». «А ты – нормальный?» Он безнадежен.

Дома его встретили радушно, в корчме угощали виноградной палинкой и чесночной колбасой. Разговор зашел о кооперативе: дела могли бы быть и лучше, председатель, правда, язвой желудка мается, иной раз орет на людей без причины, – но в общем все есть, что надо. Один старик посоветовал: «Уж ты, Шаму, поглядывай: коли участковый заявится, ты сразу – в другую дверь». Полицейский в самом деле пришел, попросил документы. «Где увольнительная?» Шаму не расслышал, потом сказал только: «Меня здесь нету». Полицейский стал тащить его в участок, Шаму содрал с него погоны и затолкал их ему в рот. Резиновую дубинку отобрал и забросил в колодец, а револьвер, все шесть пуль, разрядил в сортир во дворе. За ним приехали на машине; он встретил их, размахивая над головой жердью, но его постепенно притиснули в угол и связали. В участке Шаму одумался и не стал хватать вешалку, как можно было от него ожидать, а обратился к своим видениям. «Призраки пугают меня, чудища о трех дырках завладевают всем светом. Крепкие, с большим умом ребята. Толкают на грех, гадят на снег, развлекаются смертью». Для них это было странно; мы-то со своими призраками давно другу другу надоели. Из оставшейся дюжины зубов ему на сей раз выбили только два.

Шаму сильно угнетала и эта утрата, и неудача побега. Вчера он отправился напрямик к директору, где как раз шло совещание. За полтора часа комиссия должна была решить судьбу двухсот пятидесяти пациентов. На каждое произнесенное имя Шаму кривил рот и говорил: «Чокнутый! С вывихом! Понюшки табака не стоит!

На электрический стул его!» Директор проявил недюжинное самообладание: он только зубами скрипел. Наконец Шаму вывалился из кабинета – и напрямик в мертвецкую. Ввалился на плечи труп одного старика, оттащил его в бельевую; тщедушный кладовщик не посмел противиться великану. Белая рубашка, белые брюки, белый халат. Дядя Купка сидел в гостинной расфранченный; только ноги ему трудно было согнуть в коленях. Больные с почтительным поклоном подходили к нему: «Господин директор! Отпустите меня домой, пожалуйста!» Дядя Купка, за спиной которого стоял Шаму, великодушно кивал. «Вы здоровы. Выписываем», – вещал он замогильным голосом. Многие принимали быстрый вердикт всерьез.

За Шаму пришла новая докторша; она взяла его за руку и, поглаживая по шее, словно коня, увела под душ. Пока она прикладывала стетоскоп к груди пахнущего мылом верзилы, в него воткнули шприц – и через минуту уже вели в процедурную. Три изящных сестрички свежими, ловкими своими ручками уложили громоздкое тело на кушетку. Никакого особого насилия тут не нужно; прелестные барышни в белоснежных наколках, сопротивляйся, не сопротивляйся, все равно одержат верх.

«Ну, поозорничал парень немного, мешало это кому-нибудь? – ворчал я. – Мало того, что ему зубы выбили, ты еще и серого вещества хочешь его лишить, которого у него и так с гулькиной нос?» «А мы – с затылочной стороны, от этого он глупее не станет», – сказала Клара. И, сунув пальцы в рот Шаму, вынула перекосившийся скользкий протез. Пока сестры готовятся к сеансу электрошока, она быстро прижимается ко мне: «Будешь умничать, тоже получишь, да так, что забудешь, как тебя зовут».

14

Порядок в клинике нарушать нельзя, любые отступления от него и призвано предупредить маленькое искусственное кровоизлияние в мозг. Электрошок – один, причины – разные: пациент вернулся с побывки из дому удрученный, с трудом входит в колею; отказывается принимать лекарство; его о чем-то спросили, он же высокомерно смотрел в сторону; встал и ушел с группового сеанса; пропускает часы трудовой терапии (склеивание кульков в мастерской) и тренировки по волейболу; не хочет есть, в его дыхании появляется ацетоновый запах голодающего, которому противен любой кусок; в любовной тоске ничком валяется на кровати, ревет белугой; старик, днями напролет читающий Библию (он убил свою жену, чтобы взять на

себя все прегрешения человечества), опять воображает себя спасителем. Или директор просто обнимет кого-нибудь за плечи и приведет: «Что-то не нравится мне у этой девушки взгляд. Устройте-ка ей профилактику».

Ты можешь спрятаться под кровать, сестричка все равно приведет тебя в процедурную: «Мы только кровь возьмем на анализ, вот и все». Ты можешь, давась, съесть ломоть хлеба, – тебя затолкнут в единственную койку с сеткой, и ты будешь сидеть там, пока желудок не опустеет. В процедурной восемь лежаков, производство поставлено на конвейер, кислородная подушка всегда наготове. Суетятся молодые врачи, одного пациента еще усыпляют, у второго уже зубы ощерены, третий синееет. За окном, на скамейке, рядом сидят избранные, терзаемые первобытным страхом: «А что, если после электрошока я больше не очнусь?» После процедуры они не узнают того, с кем вчера разговаривали, забывают обиды и беды, не находят вещь, которую положили на обычное место. С отсутствующим выражением, молча сидят в комнате для занятых трудом, медленными, то и дело замирающими пальцами распутывают нити хлопковой пряжи и застенчиво улыбаются, если к ним обращается кто-нибудь из начальства.

15

С кучкой больных в серых больничных пижамах я иду по бетонной дорожке, пересекающей старый парк при психиатрической клинике, в ту сторону, куда, скорее всего, побрела, с помраченным рассудком, Анна, – к прудам. Рядом трусцой, нюхая клочья сорной травы, бежит белоснежный барбос; ворона, сидя на ветке, шумно хлопает крыльями; над руинами кегельбана скачет белка; греческие богини без рук и голов валяются в старом бассейне. Вдалеке, на чьем-то подворье, колют свинью, я словно в собственном горле слышу высвободившийся из ее перерезанной глотки визг, вижу, как хлещет кровь в белый эмалированный таз. Один из наших больных, бывший полицейский – сейчас он щеголяет в халате из красного бархата, подпоясанном кожаным ремнем, на котором висит будильник, – рассказывает, что в деревне у них обычно звали его, чтобы он застрелил свинью в голову. Нам с братом было лет по семь-восемь, в расстегнутых бекешах мы боролись на опаленной в соломе туше свиноматки и, опуская ладони в таз с кровью, старались измазать друг друга.

Из-за дерева навстречу мне выскакивает однозубый с длинным железным гвоздем, выпрашивает сигаретку. Если я не даю, он кидается ничком на землю и вонзает гвоздь в землю перед моими ногами. Я знаю, в кармане у него есть сигареты, но все-таки даю одну. Он хихикает, прикрывшись рукой. Однозубый этот осточертел мне; он пытался изнасиловать свою бабушку. Меня отводит в сторонку розовощекий инженер из урановых рудников; в правой подмышке у него температура опять ниже, чем в левой. На основе этого факта он может доказать, что периодическая система элементов неправильна. Сознание важности этого открытия бросает его в дрожь. Мацко, толстый олигофрен, кладет голову мне на грудь, потом показывает на мои волосы: «Это что?» «Волосы». «Волосы?» «Волосы». Он многократно с восторгом повторяет слово, словно некое откровение. Рядом довольно ухает старуха, которая убила лопатой свою младшую сестру; она показывает мне свой дряхлый кожаный ридикюль, я должен его похвалить. «Красивая сумка». Она нежно, словно младенца, прижимает его к груди.

Черную, как головня, высохшую Писклю часто колотят – за ее страсть к доносительству. Особенно злы на нее молодые певуны цыганки, которые устраивают цыганские свадьбы за деревней, в яме, где берут глину. Сейчас Пискля обижена: ее не взяли в драмкружок играть фею. «Он еще хуже, чем мой муж», – злобно шипит она, имея в виду режиссера. Муж, когда ему, бывало, уж очень осточертеет ее слушать, запирал Писклю в курятник – и на пару дней забывал там. Пискля упрашивала полицейских, чтобы они избили мужа без всякой жалости, пускай он даже мужиком больше не будет. А режиссер, идя перед группой, погружен в себя, ничего не слышит и не видит. Его отпустили на побывку домой, но он, как был, с чемоданом,

зашел в телефонную будку перед домом, просидел там всю ночь, утром увидел, как жена уходит на службу, и после этого вернулся. Не знаю ли я где-нибудь заброшенной заимки в лесу или шалаша на плоту, он бы там поселился, на жизнь зарабатывал бы побелкой церковей. Он уже обосновался было в одной часовне, одинокие сердобольные бабы приносили ему в корзинках горячую пищу, но власти посчитали его английским шпионом, потом сумасшедшим.

Подкравшись сзади, мне закрывает ладонями глаза Мальвина, хнычет, что, если я не возьму ее на закорки, она мне сердце выгрызет. «Ты толстая, я тебя уроню». Она шупает меня между ног и, хихикнув, убегает; я слышу, как она грозитя выгрызть сердце инженеру с уранового рудника. «Тебе, Анна, уже хорошо», – говорит куда-то в пространство крестьянин, знаток Библии; он, как всегда, в меховой шапке, с трубкой; развернув большой клетчатый носовой платок, он смачно плюет в него. «Ты что, видишь Анну?» – спрашиваю я его. «Вижу, вот она, у меня в руке». И он, кивая, смотрит в свою раскрытую ладонь. «Недолго мне тут разговаривать с вами, потому – грядет князь мира, а во мне ничего евонного нету».

Анну время от времени привозит в клинику ее муж, комитатский судья. За умеренную плату он обеспечивает себе несколько месяцев спокойной жизни. Шофер, въезжая на пандус, сигналит, больные, слоняющиеся в вестибюле, высыпают наружу, Анна сквозь слезы улыбается им. Муж идет искать директора. Последний случай с ней был такой: целыми днями она сидела перед трюмо, смотрела на себя в зеркало, потом красным мелком яростно перечеркивала свое отражение. Потом так же яростно принялась вязать, шарф был уже длиной метров десять, а она все не могла остановиться. С Новым Заветом в руках она отправилась в суд, опустила в коридоре на колени и принялась молиться за то, чтобы муж оправдал обвиняемого. Затем, ворвавшись в зал заседаний, где судья как раз зачитывал приговор, истерически кричала: «И он еще говорит! И он еще говорит!» На другой день умолила дать ей наручники – и уснула, только сковав себя с мужем: боялась, что этот полноватый, с пробором в волосах человек сбежит от нее, пока она спит. Она пришла к моему младшему брату – когда-то у них была любовь: «Двадцать пять лет назад меня арестовали из-за тебя. Полгода били, чтобы я дала на тебя показания. А ты оставался на свободе и без всякого принуждения свидетельствовал против меня. Двадцать пять лет я стараюсь понять, зачем ты это сделал. Прошу тебя, дай хоть какое-нибудь объяснение». Дани не сказал ни слова; она встала и ушла. «Мне снилось, что я тебя задушила, – сказала Анна мужу в слишком ярко освещенной комнате – и вонзила ногти ему в шею. – Хоть от меня пострадай, если сам не можешь». Муж сел на ковер, положил голову ей на колени. «Завтра отвезу тебя в клинику», – сказал он. «Лечить? Давай лучше я встану возле окна, а ты толкни меня. Так куда проще». Судья отвернулся: «Завтра поедем». «Конечно, поедем, единственный мой», – ответила Анна и стала собирать вещички.

Муж сидел в кабинете директора; Анна ворвалась к ним, уже в больничной одежде: «Сколько он вам заплатил, чтобы вы меня тут держали?» Сев во вращающееся кресло за громадным белым письменным столом, она повернула настольную лампу, направив на них слепящий сноп света. «Ну, зачем, умоляю, скажи, единственный мой, зачем тебе надо меня здесь держать? За то, что я тебя люблю, а ты не можешь этого вынести?» Судья смотрел в угол: «Ну к чему все это?» Директор выглянул, позвал меня: «Уведи ее». «Идем, Анна, – сказал я, – покажу тебе новую оранжерею». В вестибюле я остановился. «Нам тут пианино привезли. Правда, совсем расстроенное. Поиграем в четыре руки». В городке, где я вырос, мы жили по соседству; зимой мы вместе ездили на каток, в санях, ноги нам закрывала полость, под дугой звенели медные бубенцы. Я любил сметать снежинки с ее кос, торча щих из-под меховой шапки. В будке, где топилась железная печурка и гремел граммофон, я, положив на колени себе ее ножку в пестром толстом чулке, надевал ей коньки, и, когда она, повиснув у меня на локте, пыталась делать круги на одной ноге, я и через несколько слоев теплой одежды ощущал ее маленькие, едва сформировавшиеся груди. Когда я вернулся с фронта, брат жил с ней, но в

законный брак не хотел вступать: помещицья дочь плохо повлияла бы на его формирующееся передовое мировоззрение.

Я и сейчас держал Анну под руку. Мы шли с ней по мраморному полу парадного зала, сквозь строй дефективных лиц, пациент пятидесяти трех лет и пациентка сорока восьми; ее черные, до плеч, волосы сейчас, начиная седеть, были прекраснее, чем когда-либо прежде. Анна вырвалась у меня из рук, уцепилась за легкую, гладкую колонну под треугольным фронтоном; ее полные, цвета мальвы, губы были искусаны в кровь. «Ты с ними заодно? Ты – как тот черный, хитрый козел на бойне, который ведет стадо под топор, а сам находит момент, чтобы выскочить в боковую дверцу». «Анна, пойдем со мной, погуляем в парке. На пруду есть лодка, давай поплывем на остров, где живут дикие утки». Из здания выходят судья с директором, Анна бежит им навстречу: «Эй, чокнутые! Посмотрите-ка на этих великолепных представителей общественности! Крикните им – ура!» Чокнутые с готовностью кричат «ура» директору и судье. Директор, схватив Анну за руку, тащит ее, через вестибюль, меж больными, в сторону процедурной. Обернувшись, бросает судье: «Пожалуйста, уезжайте. Остальное – наша забота». Я иду следом за ними: «Отпусти ее, с нами она успокоится». Он отмахивается: «Лучше ей сразу забыть этот день», – и вкалывает ей полдозы снотворного. «Кому лучше, ей?» «Да, ей». «А тебе – не лучше?» «Мне – нет. Я, конечно, представитель общественности, но не идиот. Я знаю, что делаю. Подержал бы ей ноги». «Не буду». «Тогда чего торчишь здесь?» «Смотрю». «Ну, смотри, если нравится. Тебе все равно только и осталось, что смотреть».

Две санитарки укладывают Анну на кушетку, третья держит ей голову. Директор прижимает к ее вискам раковины электродов. Анна хрипит, кусает резиновую трубку, втиснутую меж зубов. Звуки мучительного оргазма; тело ее выгибается дугой, приходится давить сверху, чтобы она не сломала себе позвоночник. Когда с ее побелевших висков снимают темные полшария, судорога немного слабеет. Глаза Анны неправдоподобно велики, зрачки неподвижны; абсолютно пустые глаза. Медленно, очень медленно из глубин сознания всплывают какие-то слабые импульсы, заставляя глазные яблоки шевельнуться. Глаза Анны – уже не просто цветные шарики: в них зарождается взгляд. Болезненно медленный, ищущий взор ее орокусируется на лице санитарки, склонившейся над ней. Директор заносит в свой блокнот, какое лечение получила пациентка, искоса смотрит на нее. «Ну вот, Анна опять с нами», – говорит он задумчиво.

Сиделка стирает с белого лба Анны пот, из углов рта – слюну и немного рвоты. «Вы меня видите, Аннушка? Вам уже лучше, да? Ничего страшного, просто поспали чуточку». Анна пытается поднять голову, челюсти ее стиснуты, она не понимает, где она и что с ней. С огромным усилием она разводит согнутые в коленях, напряженные ноги. Ночная рубашка ее сползла на живот, взлохмаченный пах очень далек от потустороннего, отсутствующего лица. Она не в силах встать, ей с двух сторон помогают, в дверях процедурной она делает лужу, на пороге палаты ее рвет, а на койке она опять теряет сознание. Соседка по палате, устрашающе исхудавшая от неправильной дозировки лекарств, страдающая депрессией девушка – она сочиняет стихи о сексуальных радостях, ничего не зная о них, – по-сестрински расчесывает Анне волосы. «Вот ты и вернулась, милая», – шепчет она. Недавно она убежала, но ее вернули; мать ее живет в домике путевого обходчика – и ей страшно, когда дочь, лунными ночами, выходит на рельсы и декламирует свои стихи.

«Как это унижительно», – тихо сказала на следующий день Анна. Смеркается; прислонившись спинами к теплой белой стене, мы смотрим сквозь проволочную изгородь на проходящее мимо шоссе. В такие моменты, после ужина, когда из деревни доносится колокольный звон, а мы сидим на лавочке у ветхого домика, где прежде жила прислуга, – в такие моменты тяжелее всего. В сером небе уже повисла луна, но в выемке лесной просеки мы еще видим обескровленный краешек солнечного диска. В этот час, когда все в мире смешалось, мы, кучка сумасшедших в темных робах, сообщаем блуждая по закоулкам сознания, как можем, согреваем

друг друга. С шоссе доносится рев автомашин, люди с напряженными лицами мчатся к каким-то своим, непостижимым для нас целям.

16

Такое обычное для нашей клиники занятие, как подбор нитей для ковров, не смогло привлечь внимание Анны. В первый же день она обнаружила, что готовые ковры, свернутые в рулоны, плесневеют в подвале. Продавать их нельзя, потому что мы – не предприятие, а лечебное учреждение; класть на каменный пол в палатах их тоже нельзя: ковер принадлежит государству, а не больным, и если они присвоят то, что сделано их руками, они все испачкают, испортят. На одном из общих собраний больных, где враждующие друг с другом пациенты обычно пользуются случаем, чтобы во всеуслышание доносить друг на друга, а директор отеческим тоном журит всех подряд, Анна сказала: «Ладно, пусть так, пусть это не лечебная клиника, а работный дом. Но вы хотя бы придумайте дело, от которого всем будет польза. Или вы потому и даете бессмысленную работу, чтобы мы учились подчиняться слепо?» «Одно дело – конструктивная критика, и совсем другое – публичное подстрекательство», – быстро ответил директор. И улыбнулся Анне: если она неважно чувствует себя, не обязательно ей высиживать все собрание. На следующий день он удвоил ей дозу снотворного. Анна отказалась посещать занятия по трудовой терапии; по утрам она уходила в парадный зал на первом этаже и садилась в сторонке, на одну из длинных лавок, где проводили целые дни больные, с которыми уже все равно ничего нельзя сделать. Между колоннами и вдоль стен около сотни живых огородных пугал в серых робах копошатся, бродят, сидят, где найдут местечко, спят, закинув голову и неритмично храпя. У двери, что выходит в парк, в теплую погоду сидит на корточках лысый паренек с осмысленным, умным лицом. Иногда он встает и, заложив руки за спину, на одной ножке скачет от одной колонны до другой; не было еще случая, чтобы он сказал кому-нибудь слово. Анна время от времени присаживается рядом с ним и дает ему мячик. Паренек держит его, не зная, что с ним делать. Анна забирает мячик, подает ему снова. На прошлой неделе ей удалось добиться, чтобы он сам протянул ей мячик.

Иногда Анна помогает кормить старух. Сначала она переодевает их в чистое, только после этого им можно обедать. Одна сиделка не в силах справиться с восемью старухами. Восемь дряблых задниц, повернутых к водопроводному крану; на иных, после вчерашнего жирного ужина, размазан жидкий кал. Старухи стоят на линолеуме, зябнут, влажная тряпица быстро становится грязной, а еда тем временем остывает. Некоторые, кто пожаднее, вылавливают из своей тарелки кусочек мяса, потом ссорятся, кто к какой тарелке успел приложиться. Когда все задницы вымыты, идет в ход полотенце; но пока вытирают первую, конец очереди – в гусиной коже. Старухи уже не могут держать в руках тарелку с супом; когда одна, подняв к губам ложку, с шумом втягивает мутную жидкость, остальные глядят на нее и чавкают вместе с ней. Картошку, кусочки мяса они заталкивают в рот пальцами, низко склонившись к столу. Когда все съедено, старухи откидываются на спину и переваривают, вместе с редующими воспоминаниями, обед, который и сегодня был невкусным, и завтра не станет вкуснее. Кому-то из них приходит в голову, что в детстве в дальнем углу сада росла малина, от которой руки делались красными – и она сообщает об этом Анне; да, у нее в саду тоже была малина; в таких воспоминаниях легче скоротать время до ужина.

17

За сигареты даже бородатая Гизи находит себе в клинике любовников. Когда ей приходят деньги, она спешит в вестибюль, выбирает какого-нибудь слюнявого шизофреника и, прежде чем раздеть его и опрокинуть к себе на живот, заросший шерстью до самого пупка, разогревает

его ромом. Было время, когда она брилась, но на другой день подбородок у нее становился колючим, и она бросила это дело: зато у нее есть что-то, чего нет у других. С тех пор она с вызовом трется обо всех шелковистой своей бородой. Ей тесны даже самые большие бюстгалтеры; десяти лет она в первый раз забеременела; гигантский клитор держит все ее сто десять килограммов в постоянном лихорадочном возбуждении. Отправившись на побывку домой, она оседлала даже собственного отца; старый господин, вырвавшись из тисков энергично двигающихся ляжек, не зная, куда деть глаза от стыда, побежал в полицию, но там над ним лишь посмеялись. Она – всюду, как сладострастная афишная тумба, везде слышен ее хриплый голос; в распахнутом халате она топчется в оранжерее, предлагает себя прямо меж гряд с помидорами. С помутненным мозгом околачивается вокруг отделения детей-дебилов и, словно волк ягнят, таскает подростков, сразу по двое, в осыпавшиеся окопы на склоне горы. Прокравшись в палату стариков-маразматиков, устраивается, расстегнув халат, верхом на них; подняв к небесам кирпичный от холода зад, на четвереньках ползает возле шоферов, умоляет забраться с ней в хлебный фургон. Бешенство ее сильнее всяких лекарств, утихомирить ее невозможно; иной раз она сбрасывает в вестибюле одежду и, закатив глаза, трясет перед всеми своими мясистыми прелестями. Сиделок, пытающихся удержать ее, она разбрасывает, как медведь – вцепившихся ему в загривок собак; взметнув в воздух апоплексически тучное свое тело, она опрокидывает их ударом ступней. В конце концов коварная старуха монашка, подкравшись сзади, втыкает ей в зад большую иглу. «Снимите с меня шкуру», – умоляет она, лежа на носилках. После электрошока, оказавшись в своей постели, она с просветленным, беспокойным лицом смотрит в потолок. Проснувшись, она видит рядом с собой Анну: поставив локти к себе на колени, та напевает ей; Гизи тоже поет, звуки, летящие из ее бороды, напоминают вой пылесоса.

Габи, подперев рукой подбородок, лежит на канапе; это ее место, и все мы уважаем ее неприкосновенное право собственности. Беспреданно качая свое рано покрывшееся морщинами личико, она грызет резиновую кость, какие продаются в собачьих лавках; вся она – маленький, черный, костлявый холмик. Какая-то нерешительная молодая женщина, видимо, новенькая, с рогаликом в руках садится рядом на канапе; Габи выхватывает у нее рогалик, тычет им в глаза новенькой, вцепляется ей в волосы. Беднягу нам удастся спасти, но Габи уже вожжа попала под хвост: на коротких, кривых своих ножках она топает по комнате, щиплет кого ни попало за щеки, рвет рубашки, халаты. Ее останавливает сиделка; Габи от злости делает себе в штаны, засовывает туда руку и мажет калом первый попавшийся белый халат. Ее тащат в уборную, усаживают на биде и, крепко держа, моют. Габи уже не утихомирить. Хотя теплая вода ей приятна, она откидывает назад голову и, ослепленная ярким светом плафона, наполняет все здание воем гиены. Нет уголка, где его бы не было слышно; нестихающий пронзительный вопль растягивается на четверть часа. Неписанный закон клиники требует спокойно воспринимать даже самые дикие выходки друг друга. «Габи сердится», – замечает кто-то. Хотя задница у нее уже вымыта, Габи не может остановиться: целый вечер она дрожит и трясется, так что два эпилептика недовольно показывают на нее пальцами в двери уборной. Из сада приходит Анна; она просто кладет руку на голову Габи, сует ей в рот кусочек сахара, гладит ее ощеренное лицо. Габи успокаивается, сосет сахар и колышущейся походкой возвращается к канапе; оно принадлежит только ей, она отстояла его.

18

Уже неделя или две, как Анна затихла; целыми днями она сидит в вестибюле, в одной из ниш. Когда к ней обращаются, она из какой-то невероятной дали посылает на лицо улыбку; но на ответ у нее уже не хватает сил. В столовой она отодвигает тарелку и просяще смотрит на обжору эпилептика: помоги, съешь. «Это тоже их еда, – говорит она. – Да и не важно все это». Ее навещал муж; Анна произнесла лишь два слова: «Домой заберешь?» «Главврач считает, еще

рановато», – ответил судья. В парке Анна с тревожной торопливостью ходила вокруг клумбы с тюльпанами; смирительную рубашку на нее не надели, но стали пичкать транквилизаторами. Коли уж успокоилась, пусть будет спокойна, как труп; у раздающей лекарства сестры Анна украла дополнительную дозу, и ей удалось совсем себя оглушить. Она пробралась в машину скорой помощи, на которой как раз привезли нового пациента; обнаружили ее только в соседнем городе – и, конечно, немедленно привезли назад; на следующий день она протиснулась сквозь проволочную ограду, в деревне спряталась в чьей-то конюшне; обратно ее привел, держа за локоть, беззубый старик крестьянин.

Вчера вечером молодая сестра, Илдико, привела Анну в процедурную; на кушетке лежал Шаму, я же смотрел лишь на новую докторшу, на ее мягкие, точные движения. Перед рождением она пришла в нашу клинику, на должность заведующей отделением, и иногда навещала меня в моем деревенском доме. Она годится мне в дочери; глядя на ее тело, я чувствую, что растроган; склонившись надо мной, словно кормящая мать, она закрывает лицо мне тяжелой грудью и с садистской медлительностью совершает надо мной круговые движения, чтобы наши соприкасающиеся органы углубленно знакомились друг с другом. На пациентов она смотрит, словно садовник, и мы, растения, все, как один, тянемся к теплу ее рук. «Госпожа докторша, сделайте Анне шок. Утром, правда, она уже получила, но потом пришла в себя, и сразу ее понесло куда-то. Я и сейчас ее в парке нашла».

В эту минуту я ненавижу сестричку, хотя она – самая милая из всех. Она часто сидит с нами в гостиной, слушает танцевальную музыку, читает нам сказки, слабоумных угощает карамельками и блаженно потеет, когда ей случается победить кого-нибудь в пинг-понг. Она боится, что сестры постарше будут о ней сплетничать, хотя у нее никого нет: она предпочитает, нервничая и приходя в отчаяние, сидеть на диете и в общезжитии медсестер фальшиво играет на пианино. От нее пахнет сладостью. И она поминутно смеется, поэтому мы охотно сидим с ней рядом и послушно бежим выполнять, если она о чем-нибудь нас попросит. Поэтому ей доверили раздачу лекарств; больных похитрее она даже заставляет выпить стакан воды; открой-ка рот, говорит она, и даже заглядывает под язык. В карие ее глаза подобострастно заглядывают и те, кто страдает от лекарственной неволи; мы даже прощаем ей, что она слишком много рассказывает директору.

На кушетке как раз закачивали воздух в рот Шаму. «Может, Анну в постель лучше уложить?» – спрашиваю я. «Не стоит рисковать», – упорствует сестра. Стоя рядом с докторшей, я касаюсь ее локтя; она точно знает, чего я не хочу, только не знает, чего она хочет. Во всяком случае, ее раздражает, что медсестра едва ли не указывает ей, врачу, что делать. Перед этим ей пришлось помучиться с Шаму, да и нарушение медсестрой субординации настраивает Клару против электрошока. Руки у Анны лиловые, пальцы распухли от холода, в руке у нее – Новый Завет. «Читаете?» – спрашивает Клара. «Собираюсь», – едва слышно отвечает Анна. С затуманенным рассудком она слонялась по парку, на голых ногах у нее – разные туфли, взгляд размыт еще сильнее, чем обычно, и не способен задержаться на лице ни одного из нас. Поискав глазами светлый прямоугольник окна между нашими головами, Анна обернулась к Шаму, с некоторым интересом посмотрела на его по-стариковски запавший – с вынутой вставной челюстью – рот. «Не выходи сегодня, озябнешь», – сказал я не к месту. Анна глянула на меня с любопытством, словно видя впервые в жизни; мы с докторшей стояли слишком близко друг к другу. Анна опять обратила взгляд на тонкие, искривленные губы Шаму. «Мне ложиться?» – немного нетерпеливо спросила она у докторши. «Да уж не повредило бы», – мрачно сказала сестричка. Анна присела около Шаму, негнувшись от холода, неестественно длинным большим пальцем провела по складкам кожи на его узком лбу, словно пытаясь разглядеть их. Шаму устрашающе захрапел; сестра полезла ему в рот, поправила западающий язык. Клара полистала процедурный дневник: Анну каждое утро подвергают электрошоку, но, видимо, есть что-то, чего нельзя выбить из ее головы даже током высокого напряжения, хотя и малой силы. «Сту-

пайте поужинайте, потом ложитесь»; здоровая, молодая рука Клары, рука врача, погладила лицо Анны. Анна склонила голову в знак благодарности, кивнула и мне, потом ушла; мы остались втроем, не считая храпящего в забытьи Шаму. Клара прислонилась ко мне, потянула мою ладонь к себе под пуловер, на грудь. «Хочешь, я всю клинику отпущу домой? Не выключай в саду лампу, в девять буду у тебя». Анну, едва она вышла, я тут же забыл. Никто лучше нас, больных, не знает, как мы скучны со своими чудачествами.

Под присмотром сестры Анна легла в постель, потом, оставшись одна, встала и через вестибюль вышла в парк. Ее исчезновение заметили только поздно вечером; поисковые группы, составленные из больных, разбрелись в разные стороны, выкрикивая ее имя, и к полуночи, продрогшие, улеглись в постели. Предзимние святые принесли холода, исхудавшее тело Анны быстро окоченеет, если она упадет где-нибудь в лесу. Если она и слышит крики, то отвечать не хочет; видно, хорошо себя чувствует.

Мы в третий раз обходим вокруг пруда, из которого осенью спускают воду; кутаясь в свои молитвы, в одолевающий душу ужас, волоча исцарапанные ноги в разных туфлях, Анна, может быть, направилась сюда. Ил на дне поблескивает и воняет: осенью рыба в пруду подохла. И вдруг в луче фонаря возникает измазанное грязью колено Анны, похожее на трухлявый ствол дерева. Волосы ее мокнут в луже, среди рыбьей чешуи, правая половина лица зарыта в тину. Юбка сбилась к поясу, на бедре, словно душеприказчик, сидит недвижная жаба. Я вижу Анну, как она, споткнувшись в кромешной тьме, упала в это илистое болото. Подняться ей было трудно, и она выбрала эту покойную холодную грязь, словно найдя родительскую постель. Я думаю, когда жизнь покидала ее, она не чувствовала, что ей чего-то не хватает.

Вскоре появляется полиция; труп со всех сторон фотографируют в той позе, в какой он был найден. Мы с докторшей, проваливаясь в ил по колено, вытаскиваем тело на берег, я берусь за ноги, она – за руки. Мокрый халат Анны – тяжел, голова не откидывается назад. «Разденьте ее, пожалуйста», – смущенно просит молоденький офицер. Он должен сделать несколько снимков: нет ли на теле следов насилия? Кожа на животе Анны сморщилась, маленькие сухие груди заострились от холода. Я стираю с ее лица грязь, глаза ей закрыть не удастся, из-под твердых век смотрит синеватый белок. Встает солнце, воздух быстро прогревается, вокруг с непокрытыми головами стоят сумасшедшие. Даже вечно возбужденные маньяки и беспокойные идиоты способны иногда побыть в тишине.

19

На краю парка – два ряда пирамидальных тополей, меж ними – тихая речушка, в спрямленном русле ее течение так спокойно, что его замечаешь только по слабой ряби у свесившейся в воду былинки. На берегу, в зарослях сорго, пригревшись на солнышке, лениво бродят фазаны; вид у них сонный, но в склоненной набок головке – пугливая бдительность: в любой момент они готовы исчезнуть в кустарнике. И немудрено: в небе, в какой-то ничтожно малой точке, невидимый, плавает ястреб, который, упав оттуда, с самым неподдельным аппетитом сожрал бы любого из них. Твердым изогнутым клювом, железными когтями он произведет моментальное вскрытие теплого тела, добираясь до сердца. И тут же, по перевернутой ветви параболы, вонзится в серебристое небо. Справа над парком вздымается скальная стена – словно половинка холма, рассеченного надвое. На пологой его стороне, как большие белые идолы, неподвижно стоят коровы. Они обступили пастуха в кожаной одежде, а тот, в своей войлочной шляпе серьезный, как полководец, дует в рожок.

Анна лежит навзничь во влекомой ослом двуколке; я касаюсь ее седеющей головы; страдающий депрессиями возчик тихо плачет. Я спас Анну от электрошока, побуждения у меня были самые благородные, но она теперь – по ту сторону и благородства, и низости. Мы медленно двигаемся по склону холма, купающегося в утреннем солнечном свете: кучка заблуд-

ших душ, процессия, разделенная на две части. Впереди – наши душевноздоровые стражи в белых халатах, поверх которых накинуты черные пелерины, позади – неуклюжие фигуры в серых робах, будущие пассажиры вот этой двуколки. Клара идет чуть сбоку, неся на себе клеймо уступчивости, ставшей причиной смерти. Не выполни она моего молчаливого требования, Анна сейчас грелась бы в лучах осеннего солнышка на скамье, прислоненной к стене дома. Надо было и дальше разрушать электрическим током сворачивающееся сознание Анны: тогда, пусть жалкая, пусть в каталептическом безмолвии, она бы какое-то время еще жила серой тенью меж нами. Я мог бы сказать Кларе, что если я и убил Анну, то убил намеренно, а не по чрезмерной доброте; но я не стану ее утешать. Если она способна плакать от души, пускай поплачет; как же до отвращения быстро мы находим себе оправдания.

20

Анна сейчас покидает нас, наверняка ликуя: последний ее побег удался. Это уж потом будет бестелесная, кровавая мука, еле пьющее мозг одиночество, судилище памяти; это потом мы будем себя убеждать, как ей хочется блаженно скользнуть обратно, в неверную плоть посюстороннего бытия. Пока же мы: и безмозглые идиоты, и вполне здравомыслящий персонал – лишь вглядываемся, подслеповато шурясь, в знобкое ее отсутствие. Она уже там, с праведниками, мы же остались тут, людьми, бессильными постичь науку умирания. Пока мы добиремся до вершины холма, я складываю из обрывков воспоминаний более или менее цельную статуэтку и помещаю ее в семейную горку, среди прочих реликвий. Хорошо, что она ушла сама; это лучше, чем если бы мы убили ее; лицом в ил – не такая плохая смерть.

В самом деле, спрятаться в землю – не такой уж кошмарный финал. Там тебя не могут достать, к тебе не могут обратиться, тебе ни за что не нужно цепляться, ни к чему приспособливаться. Взять и сбежать раз и навсегда отовсюду: из тюрьмы, из окружения близких, из железных дверей и демаркационных линий, из лап полковников с заплывшими глазами, от стукачей и надзирателей, – разве ты не об этом всегда мечтал? Они все еще здесь, все еще боятся, грозят, а тебя уже нет нигде. Может, рай – это не жизнь в материнской утробе, а скольжение в смерть. Бывают часы, когда я не хочу ничего, кроме того, что есть в данный момент. Ты сидишь на пороге дурдома и видишь, что это – хорошо. Пограничный шлагбаум между тобой и вещами поднимается; все, к кому ты имеешь какое-то отношение, собрались вокруг, ты вселяешься в них, ты выходишь обратно, ты молчишь, и они молчат тоже. Даже одно-единственное слово разрушило бы хрупкую оранжерею всеобъемлющего покоя. В такие минуты смерть не страшит – разве что вызывает минутную дрожь.

Нет ничего, чего бы тебе хотелось: только этот вот зачарованный замок, с его призраками, с его забавами. Бежим, брат! Серый волк под горой! Кто-то приходит тихо и властно, по-хозяйски осматривается в твоих снах, походя щупает, что там у тебя под ребрами, а утром рубашка – мокра от пота. То, что ты называешь «я», растворяется без следа, но остается все прочее. Налево пойдешь – себя потеряешь, направо – не будет совсем ничего. Но ведь что-то должно же происходить, ведь ты – это то, чем ты будешь; а тот потертый, поцарапанный чемодан, чем ты был, у тебя нет никакого терпения тащить, надрываясь, дальше. На рассвете тебе пришло в голову, что вечера ты не дождешься, и думать это было приятно; но утренний кофе после умывания показался тебе еще приятнее. Ты привык считать, что ничего не боишься, – однако пугаешься вдруг и готов пронзительно завизжать, как поросенок, которого неожиданно схватили за хвост. Человек слишком быстро прочитывает себя, словно какую-то телеграмму.

21

«Пойдем-ка, погуляем», – зовет меня директор; мы выходим в парк; я молчу.

«Тут доктор Ш. предложил: не создать ли в нашей клинике, где все двери настежь, закрытое отделение? Две палаты, решетки на окнах, дверь в коридор всегда на замке; туда бы мы, временно, помещали больных вроде Анны, которым не сидится на месте. Сначала мне идея понравилась; „Завтра обсудим, – говорю, – утро вечера мудренее“; а утром вышел в сад – и чувствую, что-то не то. Слишком комфортно; диктатура ведь и питается этим – любовью к комфорту. Чем прилежнее руководство, тем меньше потребность в насилии. Проще всего упрятать за решетку того, с кем нам лень разговаривать. Ты пытаешься всего лишь исключить риск – а в итоге теряет устойчивость вся система».

«Если у нас здесь, в клинике, будет закрытое отделение, в первую очередь туда попадут больные, опасные для самих себя, потом – беспокойные, потом – просто непокорные, если очень уж станут нам докучать. В конце концов – и безобидные развалины, от которых ты мечтаешь избавиться или, во всяком случае, что-нибудь сделать, чтобы они не маячили перед глазами. Потому ведь и засовывают в любой психушке стариков-маразматиков в такие углы, куда никто не заходит: уж очень на них неприятно смотреть. В общем, такое закрытое отделение скоро наполнится, к нему надо будет добавить еще палату-другую, а в оставшейся, открытой части больные будут тревожно гадать, кто следующий на интернирование. Это вызовет такое напряжение, что все больше больных будут давать повод для перевода на закрытый режим. Найдется даже, кто сам будет рваться в закрытое отделение, сам полезет в затянутую сеткой койку – лишь бы избавиться от давящей ответственности».

«Ты это должен знать, ты ведь и сам к таким относишься. Я иной раз тоже завидую сумасшедшим в койке под сеткой: с ними происходит лишь то, за что в ответе другие. Коли ты все равно не располагаешь собой, тогда уж пускай – койка с сеткой. Перед тем как ты выпишешься отсюда, я велю принести из подвала койку с сеткой: забирайся туда, плачь, тyani руки наружу. Это – чтобы почувствовать, какая привольная жизнь у тебя была здесь, на месте великого твоего унижения! Мог бы ты опуститься и ниже, тогда все бы тебе было до лампочки. Не желаешь ли небольшую лоботомию, надрез между корой и телом мозга? Сколько я ни знал отшельников, все они были тщеславнее, чем бургомистры и партсекретари. Словом, считай, что идею закрытого отделения я похоронил; но вполне может быть, что на ближайшем собрании наличного состава я еще вытащу этот труп, для устрашения контингента».

«Абсолютного контроля не существует; кто очень хочет умереть, пускай умирает. Я, конечно, попытаюсь уговорить его не спешить с уходом, как принято уговаривать гостя, – но я не стану запира́ть его пальто в шкаф. Удалиться через парадный подъезд имеет право лишь тот, кому я на это дал разрешение; но, пусть ко мне пристаёт привратник, я не стану чинить повалившийся забор в ста метрах от подъезда: у кого разрешения нет, тот пойдет и вылезет там. В моих глазах свобода – один из способов поддержания порядка. Кто любит гулять не только в старинном парке, но и за оградой, по кабаньим тропам, кто, сев на плот, может переплыть реку, – тот меня скорее послушается. К вечеру ли, на третий ли день, но он все равно вернется: в лесу холодно, в постели тепло. Терн и грибы – вещь хорошая, но свиная отбивная по воскресеньям – еще лучше. Если у тебя хороший повар, спокойно снимай с окон решетки».

«Ты не знаешь, какие Анна устраивала побеги. Однажды села на московский экспресс и спряталась в спальном вагоне. Конечно, она знала, что рано или поздно ее все равно ссадят; это она нам хотела показать, какая она отчаянная. Ну, я угостил офицера полиции коньячком, потом сочинили мы с ним безобидный протокольчик. Ты ведь мог в тот вечер и посидеть возле Анны. Прелесть что у вас за мораль: против начальства вы бунтовать всегда готовы, а вот друга, у которого крыша поехала, за руку подержать, чтобы его не носило по ночам бог знает где, – это никак. Насчет того, что ты очень уж будешь себя винить, я не беспокоюсь, хотя ротмистру полицейскому твое имя даже не помянул».

«Ты и сегодня не способен понять: для того, чтобы руководить таким заведением, морали требуется ровно столько, сколько соли для супа. Если ее слишком мало, если слишком много, –

суп выйдет несъедобным. Основные ингредиенты – это рутина, правила, продуманный и рациональный порядок. Кто хорошо пишет, тот чаще всего плохо командует. Моралисты – они или рассопливят власть, или свирепствуют, как проклятые. Поставь командиром роты философа: он или все пустит на самотек, или примется расстреливать каждого десятого. Я взялся выполнить задачу: держать сто человек персонала и три сотни больных в строгости; для этого мне приходится хитрить, заниматься политикой. Не вступи я в партию, я и сегодня был бы всего лишь старшим врачом. А так: получил партбилет – и директор. Действовать можно, только если ты внутри. Твоя беда в том, что ты поверил Марксу и смешал критику и действие, потому тебя и сажали все время».

«Врач я, может, и не ахти какой, но организатор сносный. Я решил, что обязательно выйду в начальники, но рецепт для этого один: сначала побегай возле больших поваров поваренком, и правило это я соблюдаю строго. Скажем, охотиться я терпеть не могу, но сделался завзятым охотником на уток и благодаря этому могу добыть все, что хочу: надо только посидеть в охотничьем домике за дубовым некрашеным столом, отхлебывая самогонную сливовицу с другими такими же горе-охотниками, отрастившими пузо в высоких кабинетах. И вот пожалуйста: больные мои живут в усадьбе, гуляют в парке, чаще едят мясо и выпечку, чище одеваются, получают больше карманных денег, чем у других директоров. Посмотри вокруг: платановая аллея, подстриженный газон, беседка, увитая дикой розой, белоснежные скамеечки у клумбы с тюльпанами, греческие богини на пруду с лодками; это тебе сумасшедший дом? Это же санаторий люкс! Где еще ты увидишь, чтобы у сиделок были отдельные комнаты, электро-роль, спортзал?»

Сегодня приезжает оркестр, вечером будут танцы для всех, и страдающие депрессией дамочки будут отплясывать со мной вальс-бостон».

«Спроси: что такое была трудотерапия до меня? Кухонные бабы смешивали в ушате горох и фасоль, чтобы больным было что перебирать. Крысы, клопы, решетки на разбитых окнах, в койках с сетками – сопливые, надсадно кашляющие шизики, по два смертных случая в месяц, в умывальной комнате – хрипящие, сухие краны. Предназначенная больным ветчина – в сумках у поварих, зато много свиного жира, чтобы контингент наедался, зато понос приводил на стол к прозектору одного старика за другим. У того, кто жаловался, одежду на долгие годы закрывали на ключ, оставляли только пижаму, пусть дрожит в ней, пусть стыдится выйти из дома. В чердачной камерке, где теперь – радиостудия, был карцер: нары из голых досок, непроглядная тьма, пол натерт жидким мылом, чтобы наказанный падал почаше. А тогдашний директор, растолстевший до безобразия, подбирал пациентов помускулистее, чтобы они таскали его в паланкине. Все это – в прошлом, но лучше, если ты будешь помнить: все это было до моей тирании».

«Принимая решение, я подвергаю риску судьбу четырех сотен человек. Я должен сто раз отмерить, прежде чем отрезать. Для меня общество – то, которое есть. И такое, какое есть: не просить же мне вместо него другое. Если я не могу делать в нем, что хочу, это еще не причина, чтобы не делать совсем ничего. Вот так же я играю в шахматы: не дай бог, чтобы один невнимательный ход все к черту порушил. Признаю: да, нужны умеренные реформы. Но добавлю: такие реформы, которые можно обосновать. Просвещенный консервативный дурдом: это еще куда ни шло. Мои предки, крестьяне, привыкли выживать и под самыми капризными барами. Может ли маленький устоять против большого? Может – хитростью. Пусть согласно поддакивает большому – и благоденствует в его тени. Консервативные речи – и либеральная практика; делай свое дело, но не болтай языком. Я хочу казаться глупее, чем на самом деле. Если от моих благоглупостей их бросит в сон, мне от этого – чистая выгода».

«Считается не то, что мне годится, а – на что я гожусь. Свобода? Маниакальная идея параноиков. Параноик думает, что их двое: он – и весь остальной мир. А я не хочу убеждать мир в своей правоте: я в нем свое место ищу. Я люблю играть – и мне будет неприятно, если меня

вышвырнут из команды. Чуть-чуть независимости, конечно, мне тоже не помешает, лишь бы это не обошлось слишком дорого. Я из тех, кто себе на уме и любит, чтобы начальство плясало под его дудку. Но для успеха необходимо, чтобы начальство не сомневалось в моей лояльности. Ради этого я и на жертвы готов. Вон Авраам: чтобы уверить Бога в своей преданности, он родного сына готов был отдать. Что он думал о Боге, когда, держа сына за руку, вел его к жертвеннику? Это – только ему одному известно».

«Я и при графах не стал бы революционером, и при коммунистах не стал. Преданный партии специалист, я к ним принаравливаюсь, потому что хочу их пережить. Как там говорил партсекретарь про епископа? „Он, говорит, тоже человек: знает, что боженька далеко, а госбезопасность – вот она, рядом“. Я это тоже знаю. Если потребуется, буду врать, но с умом, ровно столько, сколько действительно требуется. Коли тут все – функционеры, от генсека до путевого сторожа, ладно, будем хорошими функционерами. Постараюсь поймать дух, который как бы царит в государстве, на слове: постараюсь создать такой коллектив, где и врачу, и больному приятно работать».

«Я решения принимаю часто. Иногда – субъективно, но против этого только один рецепт: уйти в отставку. И пускай ни персонал, ни больные меня не любят: лишь бы делали, что я скажу. Если я начну с каждым спорить, клиника потонет в грязи, а больные передумают друг друга. Мы тут вовсе не равноправные; с какой стати? Директор без авторитета – все равно что сторожевой пес без зубов: ему и лаять не захочется, если в дом заберется вор. О больном я знаю не намного больше, чем о своих часах: встали, встряхнешь, пошли. Дома у них – сплошь неудачи, сплошь рецидивы; если есть крыша над головой – уже хорошо. Три сотни взрослых людей, которые потерпели в жизни крах, которые не способны стоять на ногах без поддержки. А здесь они, плохо ли, хорошо ли, живут, заботу о них я беру на себя, и ничего, если даже они здесь застрянут надолго. Я им помогаю избавиться от всяких там страхов, пускай и электрошокком: нечего скулить, забившись в угол. Я их полечу, они поспят, потом будут слоняться, как осенние мухи».

«В школе я твердо усвоил: мы – не та нация, которая творит историю. Революции наши были разгромлены, в войнах мы терпели одно поражение за другим. Там, где надо выстоять, мы всегда на лопатках; а где надо лишь выжить, тут мы – на коне. Мои крепостные предки, когда случался набег, прятались в зарослях, в камышах, сидели в воде, дышали через трубку, которую держали в зубах. Лихие люди на конях уходили, от деревни оставались одни головни, и тут они вылезали со своими детишками. Служили мы туркам, немцам, теперь служим русским; две империи уже развалились, развалится, бог даст, и третья. Но пока они тут, будь добр, улыбайся им; я даже любить их готов, если потребуется. Тебе ведь тоже известно, в той горе танков – под завязку набито. Когда мы Прагу оккупировали, они три дня ползли; когда в Праге порядок установился, три дня шли обратно. Каждую весну, в годовщину полной оккупации страны, я выступаю перед больными с торжественной речью, воодушевляю их и себя, мол, как здорово, что нас освободили. Подобострастие денег не стоит, маньяки аплодируют, даже каталептики встают, когда заиграет „Интернационал“. А высокие гости расхваливают концерт самодеятельности и печеную курицу».

«Это ведь ты привел их сюда с автоматом, ты грозил старику бургомистру, что поставишь его к стенке, если он не выставит угощение офицерам комендатуры в надраенном, натоленном помещении казино. Это ведь ты рассказывал небылицы о том, какой там у них рай. А я, солдат, который только и делал, что бегал, добрался до этого парка, заскочил в дом, сжег форму, потом вышел к воротам с палинкой и колбасой. Мы им фасолевый суп варили в казане, гимнастерки стирали; они даже оставили нам одну корову, и сестренку мою не тронули».

«Поповские бредни, имперские бредни, фашистские бредни; интеллигенцию здесь всегда держали для того только, чтобы она врала. Вот и в солдатах: ефрейтор скомандует: „Запевай!“ – мы дерем глотки; скажет: „Отста-вить!“ – мы немедленно замолкаем. Отдадим царю –

царево, за это ему надоест террор и он не станет нас в землю втаптывать. Тебя-то самого разве не русские полковники допрашивали в политической полиции? Двадцать пять лет назад ты чуть на виселицу не попал, а сегодня даже убийц не вешают сразу. Режим – нудный, но не зверствует, а это уже кое-что. Притираемся к отливочной форме колонизаторов, а уж там, внутри, начинаем понемножку походить сами на себя. Можем потихоньку обзаводиться хозяйством – лишь бы в глаза не бросалось; режим стоит, пустил корни, теперь уже и своя традиция есть, которая ему помогает».

«Ты говоришь, с политикой завязал, потому что врать больше не хочешь; отказываешься от деятельности, риску теперь подвергать тебе некого, кроме себя самого. Свобода – без поступков; жалкую же ты выбрал альтернативу: дать себя засадить или не дать. Заперся в убогое интеллигентское гетто; тридцать оппозиционеров, за которыми присматривают тридцать агентов, и вы еще хвастаетесь, что за вами следят. Я вот – принимаю их в своем кабинете, толкую им о психиатрии, и они, с гудящей головой, пошатываясь, уходят. Один из них мне по секрету признался, что мне в машину жучка пристроили. Пускай, рано или поздно это им надоест, я ведь государственный служащий, если очень станут меня донимать, я найду союзников».

«Это ведь не моя была прихоть, чтобы ты тут у меня находился. Хитростью, симуляцией ты сам пробрался сюда, сам захотел стать сумасшедшим, созерцателем, второстепенной фигурой. И тебе это удалось; ты никому не способен помочь, от тебя никто ничего не ждет. А мог бы я хоть что-нибудь сделать, будь у меня твоя независимость? Мне нужно дружить с шишками, добывать для клиники деньги. Чему ты научишь молодых, забравшись сюда, в этот заповедник бессилия? Вон идет автобус, на нем – работяги, которые после смены возвращаются с завода в деревню; им не крах ведь нужен, а кирпича немного, чтобы домишко свой починить. Попробуй-ка объяснить соседу, каменщику, почему ты сюда попал. Это ему – все равно, как если бы чокнутый граф толковал ему из своего запущенного сада про свои беды. Может, он тебе и не скажет ничего, а про себя подумает: все-таки хорошо, что такого держат в дурдоме, нормальный человек не вылезет из дому, когда град колотит по крыше, только тот, у кого мозги набекрень, ищет на свою задницу приключений. Я твоих друзей знаю: нетерпимые противники компромиссов предадут анафеме более терпимых противников компромиссов. Я лучше честно скажу: я – признаю компромиссы, как признает их народ».

«В общем-то я тебя не жалею: придет какая-нибудь оттепель, и ты станешь тем, кем был раньше. Полиция оставит тебя в покое, книги твои издадут, будешь ездить на всякие конференции, молодежь в переполненных залах будет слушать маститого профессора. Ты ведь даже падать умеешь так, что в конце концов оказываешься выше, чем был. Ты и здесь – как фонбарон; мы тебе разрешили ночевать у себя, в своем домике, нашли и повод для этого: вроде ты мне литературу по специальности с английского переводил. Говорят, машинка у тебя стучит много, а переводы что-то поступают редко; я не спрашиваю, что ты там печатаешь. Я с тобой никогда грубо не обращался, уважал в тебе не только историка, но и сына старого своего хозяина. Питание ты получаешь, белье тебе стирают, по деревне ты разгуливаешь свободно, не уезжаешь только потому, что не хочешь просить разрешения, заманиваешь к себе докторшу, привратник тебя приветствует, будто ты тут главный».

«Но вот что мне совсем уж не нравится: ты среди больных барином стал. Чувствуешь себя взрослым среди детей, во все вмешиваешься, словно второй хозяин, глава какого-нибудь теневого правительства, но от ответственности прячешься в свою искусственную шизофрению. Журналисты к тебе едут из-за границы, а ты ломаешь перед ними комедию в больничном прикиде, этакий духовный гуру, тайный отшельник, люди приходят к тебе за советом, будто в святилище, а тем временем твоя запрещенная книга уже издана за рубежом. Очень уж под светом юпитеров находится это твое хождение в низы, очень уж пахнет продуманной стратегией».

«Главное – свобода, но при этом ведь именно ты помог Анне зарыться головой в ил. Остальное – дело наше, полиции я совру что-нибудь насчет несчастного случая. Так вот: хва-

тит. Я решил, что ты выздоровел, и сообщу об этом властям. Они согласятся, чтобы я тебя отпустил. Твоя роль сыграна, ты больше не находишься на принудительном лечении. Возвращайся в истории, заботься о семье, о своем безмозглом братике. Но если тебе так уж хочется остаться здесь, если тебе здесь нравится, ладно, надевай белый халат, приму тебя на должность психолога. Неси ответственность вместе с нами – или уезжай. Мы почтем за честь, если ты, бывая в этих краях, как-нибудь заедешь нас попроведать».

Что ж, если дело обстоит таким образом, я возвращаюсь домой. Я благодарю его, что он все это мне рассказал; приятно, что он не сказал ничего такого, чего я сам бы себе не говорил. Он слегка удивлен, когда я целую его на прощанье, но отвечает мне тем же.

22

Я пересекаю сужающийся в перспективе, зеленый проем меж двумя параллельными шеренгами пирамидальных тополей, огибаю ярко-мраморное пятно раздавленной кошки на сером полотне дороги; велосипед уносит меня из клиники в деревню. Я смотрю на неровный зубчатый гребень хребта; небо между двумя скальными вершинами прошивают стежками птицы. Дорога вьется у подножья засаженных яблонями холмов; на обочине – белая щебенка; на заднем стекле автобуса, впереди, пылает солнечный блик, выжигая контуры пассажиров, просвечивающих сквозь стекло. Дальше, из-за холмов, по-детски высовывает серебристую голову, круглую, словно луковица, водонапорная башня. Перед загоном несколько стариков в черных шляпах, в синих полотняных передниках до колен прижигают каленым железом язвы на овечьих ногах. Маленький локомотив с высокой трубой, свистя, тащит по узкоколейке школьный состав из трех вагончиков. В вагонном окне с черной рамой проплывает незабываемое девичье лицо: может быть, это внучка той, из чьих губ я, прислонившись к стене винного погреба, на давнем-давнем празднике сбора винограда пил молодое вино. Взгляд мой гладит гнездо аиста на телеграфном столбе, блестящем от масла, в сучках и трещинах; я полной грудью вдыхаю запах душистого горошка и люцерны. Даже сейчас, спустя десятилетия, я ощущаю ступнями тепло пыльных, утопанных троп. Ранней весной самец аист садился на спину самке; он едва доставал, куда надо, но во время недолгого спаривания, подняв голову к небу, громко стучал клювом; сейчас он долго кружит над камышами, резко, словно топор, падает вниз, и вот уже из его клюва торчат судорожно вытянутые лягушачьи лапки.

К рождению этой широкой, обсаженной деревьями улицы и я имел кое-какое отношение. Я сам нарезал на ней участки из надела, принадлежавшего моему деду по матери. На долю минуты я восстанавливаю шестиоконный, одноэтажный дом, который с известным преувеличением назывался господскими хоромами.

С фасада к дому примыкала терраса с белеными столбиками, с тыльной стороны – крытая приподнятая площадка для подъезжающих экипажей; дедушка как раз спускается по ней и, увидев меня, лишь молча скользит по мне взглядом; он не рад, что я раздаю его землю. На следующий день батраки, ставшие вдруг собственниками, молотком и зубилом раздолбили массивные стены, а кирпичи, звонкие, словно стальные, разделили поштучно. За столетие им надоело толкаться на общей кухне, предназначенной для прислуги, и осенью каждая семья жила уже в новом, пусть маленьком, но своем домике.

В кузове грузовика – дощатая будочка, в ней на скамейках – люди в комбинезонах с грубыми руками; они даже не заметят, если окурок догорит им до ногтей. За ними, в автомобиле цвета земляники, за рулем молодая женщина; водитель грузовика играет с ней, не давая себя обогнать. Столпившиеся в дверях будки мужчины знаками показывают, что бы они с ней сделали; склоняя голову на плечо, обозначают постель, где было бы так славно вдвоем, и обнимают призрачную фигуру. Это дорожные рабочие, которые всегда в пути; вечер, который их ждет, будет не намного веселее, чем мой. Их приют на ночь – зеленые вагоны на боковой ветке

сельского полустанка; из окон вагонов торчат дымовые трубы железных буржук. Когда грузовик остановится и задний борт с грохотом упадет, они разбредутся по своим вагонам, набитым двухъярусными койками, скинув тяжелые пропотевшие башмаки, упадут навзничь на постель и станут смотреть на вырванные из журналов фотографии кинозвезд с одной оголенной грудью. Я машу тщедушному тихому человеку моего возраста, мол, через час в корчме; до этого он, с полотенцем на шее, постоит в очереди перед душевой кабинкой, потом сядет, подтянув к коленям пустой ящик доньшком вверх, и примется тасовать карты, потом подставит свою тарелку поварихе с узлами вен на ногах, а уж после этого не сдвигаясь к площади, чтобы за кружкой пива потолковать со мною о том о сем за столиком под липами. Мы будем молча сидеть, глядя, как толстая цыганка пеленает младенца на жестяном столе, под цветастым солнечным зонтиком, потом кормит его, и младенец двумя ручонками держит огромную желтую грудь. Мы улыбаемся, видя, что цыганка во время кормления жует колбасу и успевает прищелкивать пальцами в такт душещипательной мелодии, которую выводит на трехструнной скрипке хромой музыкант.

Молодая женщина толкает перед собой свой живот и детскую коляску, похожую на кружевное облако; в коляске, под маленьким зонтиком, два близнеца, пухлые и серьезные, озабоченно, словно два президента, сосут пустышки. На тощем кобыльем хребте неведомо куда едут два цыганенка; поменьше, тот, что впереди, держит узду, побольше, сзади него, тренькает на гитаре. У колодца, с полными ведрами у ног, стоят седоволосые бабы; одной удалось наконец выжить из дому зятя. Но что ты думаешь: у дочери с тех пор равновесие даже расстроилось, а на прошлой неделе паршивка влезла на вершину скалы, выпила бутылку вина, даже прощальное письмо написала, а спрыгнуть так и не спрыгнула. Матери только сказала: «Как хошь, а верни мне этого блядуна, этого негодяя с его вонючим одеколоном. Я уже не могу одна спать в постели. Хочется мне ему под мышку голову положить и храп его мерзкий слушать». Два паренька в кожаных куртках, шатаясь, вываливаются из корчмы, пристегивают шлемы, перекидывают худые ноги через седла большого туристского мотоцикла – и уже только белое облако пылит после них на дороге. Сбитый кот с окровавленной головой недоуменно смотрит им вслед, потом, в отчаянном предсмертном прыжке, перемахивает через забор. На прошлой неделе улица хоронила двоих таких же парнишек, разбившихся на мотоцикле. «Тебе что, жизнь не мила? – спросил я одного. – Чего ты гоняешь, как сумасшедший?» «Не мила. Смерти я вот на столечко не боюсь», – сказал он, выплескивая остаток вина из стакана в пыль.

23

Со стен дома, в котором жил в последние годы мой дед по матери, годы съели почти всю штукатурку. Внизу – бутовый камень, сверху – глина; но столбы на крыльце уверенно держат далеко выдвинутый край седловидной крыши. Выйдя после войны из лагеря для интернированных, дед поселился здесь; дом он покрыл черепицей, но низкую потолочную балку, арочные двери, окруженные яркими эмалевыми тарелками, и камин в большой комнате оставил как было. Так же как и стол на козлах, и сундук в углу. Сам неверующий, в дни крестного хода он ставил в окно цветы и горящие свечи, как делаю и я: пускай не смотрят на нас осуждающе старушонки в черных шалях, с молитвенниками в покрытых пигментными пятнами руках, когда под их выходными ботинками тихо скрежещет на нашей улице щебень.

Не слезая с велосипеда, я распахиваю створку ворот, болтающуюся на лопнувшей железной петле, и въезжаю на зеленый двор; высокая, до осей, трава шуршит по спицам. Пора бы косить: весной было много дождей, сад покрыт буйной, мясистой зеленью. Крапива заполонила развалины сарая и погреба, плотной массой окружила уборную, жгучие ее листья уже достают до пояса. Я прислоняю велосипед к колодцу; деревянное ведро, стянутое ржавыми обруча ми,

уже позеленело. В этом году будет мало вишни: ветер унес куда-то шмелей, оставшиеся опыляют цветы едва-едва.

В дальнем углу сада с задумчивым видом стоит в густой люцерне кобыла Борка, хлещет хвостом по бокам, отгоняя слепней. Острые ее зубы уже нет смысла подпиливать, нет такой ярмарки, где бы ее купили. На холке торчат острые кости; Борка на два дюйма ниже лошадей, которых ставят в упряжку, но сосед много земли на ней вспахал. В руке у меня кусочек сахара, кобыла радостно ржет, волоски у нее в ноздрях уже поседели. Я треплю ее по лохматой спине, она дружелюбно роняет на землю ядовито-зеленое дерьмо. У нее есть право являться ко мне в любое время, по утрам она просовывает морду в открытое окно ко мне и укоризненно смотрит, как я валяюсь в постели. Мол, просыпайся давай, у меня тоже дел по горло. В самом деле, ей надо ехать за сеном для двух соседских бычков, которые очень даже не против, когда я чешу им плотную белую шерсть между рогами. И еще надо привезти корм свиноматке, которую розовые, с черными пятнами поросята сосут с таким остервенением, что не замечают мух, садящихся им прямо на глаза.

В тех редких случаях, когда директор отпускает меня на целый день, я запрягаю Борку в пестро раскрашенную тележку, которую беру у соседа. В задок телеги укладываются брезент, попона, топорик, связка сухого репейника, веревка, кусок сала, хлеб, фляжка с водой. Проформы ради я взмахиваю кнутом с ручкой из розового дерева, и мы отправляемся в путь-дорогу. Мы трусим под дикими каштанами, телега тихо побрякивает, Борка объезжает ухабы на дороге. Я смахиваю оводов у нее с боков; по лунному небу каждые четверть часа проносятся сигнальные огни истребителей. Я еду вдоль многокилометрового пшеничного поля, срываю время от времени колосок, жую недоспевшие, мягкие зерна, на боку телеги висит фонарь. Мимо проезжают грузовики, пароконные упряжки, но Борку это ничуть не нервирует. Она даже не смотрит на раскормленных, с лоснящимися крупами лошадей, свой предел сил она знает – я вижу, как раскачивается хомут, когда она, даже на пологих подъемах, налегает на подпругу. Мы сворачиваем на дамбу, что тянется вдоль реки, и, найдя звериное лежбище, устраиваемся на ночлег. Топор я кладу в сено, чтобы был под рукой. Рою ямку в земле, развожу костерок, румянится лук на сале, тушатся в перечном соку кусочки мяса.

Борка и во сне хрустит сеном; она чувствует, когда мне снятся плохие сны. Утром мы купаемся, я растираю Борку пучком жесткой травы, серпом нарезаю ей люцерны. В ней нет ни капли недоброжелательства, она не лягается, не хитрит; всю свою жизнь она только трудилась. Дым, близкую опасность, жестокого человека она чувствует издали. Если надо, она напрягает все жилы, но как только мы останавливаемся, выталкивает языком удила и принимается жевать траву, сорванную на обочине. Если я скажу: «Ни с места», – она стоит, как статуя; сумасшедший и старая кляча, мы застываем под черными ветками.

24

Я сижу в саду, на каменном древнеримском надгробии, которому две тысячи лет; может быть, сегодня вечером я уеду в город, а может, я только фантазирую, сидя на камне, что уеду сегодня в город. Город стал подобием моего мозга: улицы его – мои мысли; я могу путешествовать сразу в стольких местах, что, пожалуй, и отправляться туда нет смысла. Мир в пространстве за моим лбом непостижимо мал – и неизмеримо огромен; сознание мое летает в этом пространстве, будто муха в мясной лавке. Я пришел в гости, я тут довольно давно – у меня зреет подозрение, что пора бы и честь знать. Я устал и состарился, я ничего не желаю от этого мира – только уйти из него, производя как можно меньше шума. Вот и Anne надоело хватать ртом воздух: достаточно его уже прошло через ее легкие. Иной раз живые завидуют мертвым, как ночной вагоновожатый – дневным своим пассажирам, что сейчас спят дома, за темными окнами. Сколько бессмысленных телодвижений я совершил, сколько кроватей при-

шло испытать на прочность, сколько глупостей допустить, чтобы, выйдя из тишины, кануть назад в тишину; и даже чтобы уйти сейчас в дом, под коричневые потолочные балки, и лечь в крестьянскую постель. Мне всегда казалось, что должно прийти еще что-то, более интересное. Мне почти все равно, я бил или меня били, в конном экипаже путешествовал или на самолете: важно было нестись куда-то, спорить, драться, доказывать.

Когда меня обступали со всех сторон и прыгали на меня, стараясь попасть каблуками по ребрам, было плохо. Когда мучители устали и отошли, было хорошо. Объединим философию ценности и память тела. Когда я, согнув колени, лежу на правом боку и ко мне мягко прижимается – так, что в левой ладони я держу ее грудь – именно то тело, которое успокаивает мое беспорядочное сердцебиение, – это хорошо. Но если она должна уехать и больше я ее не увижу, – это очень плохо. Бывают часы, когда я вообще никого не сужу. В годы своей революционной молодости я не всегда был при оружии, но произнести пламенную речь всегда был готов. Я хотел изменять других, чтобы они сильнее походили на меня. Собственные истины трогали меня чуть не до слез, несогласие, пускай даже робкое, воспринималось как оскорбление, а нравственности у меня было столько, сколько ее бывает у сильно выпившего человека. Сейчас я предпочитаю крошить в свою трубку чешуйки дикой конопли, что растет в придорожных канавах, – это лучше спиртного в такой же степени, в какой скромный человек лучше бесстыжего. К старости я угомонился, – наверное, потому, что достаточно уже убивал; вот и вчера я совершил убийство, пускай из самых благих побуждений. Мозг мой в последнее время самостоятельно выдает готовые наблюдения: сейчас под лбом моим шелестят листвою тополя, а через минуту целое стадо поросят жрет помои.

В деревне раздается колокольный звон: кого-то хоронят. На вершине холма стоят в изголовьях могил растрескавшиеся деревянные надгробья. Над разверстой могилой визгливо причитают старухи в черном; душа усопшего возносится в небеса, она – ни белая, ни черная, все равно что дикий гусь. Старухи для своих похорон получают небольшую отсрочку; их мужья, там, внизу, уже наслаждаются мужской свободой. Но в одиночестве тоже есть своя теплая сырость, и кости на удивление быстро находят друг друга. Верхушка холма набита покойниками, им там тесно и скучно, плазменной плотью своей они бесчувственно проплывают друг через друга. Компания их – компания закрытого типа, за неимением занятия более увлекательного она ждет нас. Мы им интересны; хладнокровные наблюдатели, они оттуда, с высоты птичьего полета, держат в поле зрения нашу муравьиную суету. Они насквозь видят и мои скучные тайны, им известно лучше меня, к чему меня тянет; спокойный их дух понимает суть мою так полно, что меня пробирает дрожь. Хотя я никого ни о чем не извещал, я призываю родные тени: пусть каждый, к кому я имел отношение, придет и сядет рядом со мной на скамью.

Возможно, в эту клинику душевных болезней я ушел от своей семьи. У меня нет уверенности – во всяком случае, не на все сто процентов, – что я не сам выбирал себе близких; но товарищей по больнице выбирал точно не я, и от этого на душе у меня спокойно. Они в той же мере привычны и в той же мере невыносимы, как близкие вообще. Констатирую беспристрастно: с большей или меньшей невозмутимостью я смог отказаться от каждого из них. Даже от тех, кого любил. Когда они приезжали проведать меня, я был рад; когда уезжали, махал рукой, стоя у ворот, а кого-то провожал до деревенской околицы. Оттуда они ехали дальше, а я пешком возвращался в клинику. Иногда меня навещает жена; у нее милая улыбка и воспаление лобных пазух, внимание ее постоянно слабеет. Потом она между прочим замечает: насчет твоих дел – тебе, конечно, виднее, но мне кажется, ты меня бросил. И это – чистая правда; особенно когда я узнаю, что мое место занял один из моих друзей. То, что мы двадцать лет прожили вместе, скорее странно, чем трогательно. Я помню о ней, она мне снится, но – меня нет с ней. Кого и чего ради мы сейчас живем отдельно – а я ведь действительно с готовностью дал упечь себя в эту клинику, – мы, пожалуй, не сможем понять никогда; остается довольство-

ваться тем, что мы долго терпели и даже любили друг друга. Состояние моего духа в такие часы, ближе к вечеру – то ли огниво, то ли трут.

Утром я прихожу в сумасшедший дом, вечера провожу в корчме, опираясь на стойку, наблюдаю, какая карта идет игрокам или как по зеленому полю катится красный бильярдный шар. Во дворе корчмы кегельбан; игроки делают сильный замах, пуская тяжелый шар, потом спорят, сколько кегель упало, и все крайне удручены: ведь и тот, кто замахивается кулаком, и тот, кто получает затрещину, твердо уверены в своей правоте. Рядом грустит один мой сосед: он привез из больницы парализованную жену – и сейчас еле справляется, убирая испражнения из-под грузного тела. Приподняв за щиколотки, он подсовывает под нее старую телогрейку, а когда она испачкается, еще одну. Но вот в такие моменты, когда он уходит из дому хотя бы на полчаса, жена плачет, пускает слюни, булькает: язык ее уже не способен произносить членораздельные слова.

Деревня плавно переходит в городок, дома тут в основном такие, как были, но на кровлях – черепица вместо камыша, фронтоны на них уже не выбелены, а покрашены в цвет малинового мороженого. Тротуар и сейчас есть лишь на правой стороне улицы; после дождя в непролазной черной грязи буксуют даже грузовики. По тротуару катит на велосипеде женщина, везет молоко, которое только что надоила, сынишка ее сидит перед ней на раме, два бидона, висящие на руле, прикрыты накрахмаленными платками с бахромой – чтобы молоко не выплескивалось. Порядок этот – ни хорош, ни плох: он просто устойчив. Тихие соседи рыхлят кукурузу на склоне холма, они будут кормить кукурузой свиней, свинину будут есть сами. Утром они выбирают из постелей, вечером падают в постель, днем на заводе поднимают и таскают железные фасонные заготовки, с течением лет орбиты вокруг постели все укорачиваются. Проносится грозовой ливень, ветер шумит в ветвях ореха, крестьянская горница с темно-коричневым потолком погружается в сумрак. Я лежу на постели, бормочу себе под нос: сердце ноет, ноги ноют, пора убираться ко всем чертям. Различия сглаживаются, я лежу в лоне времени, оно уносит меня, словно река упавшую ветку.

Семья

I

Я чувствую чей то взгляд; кто-то, опираясь на подоконник, заглядывает из сада в горницу. Кто-то берет молоток, который я забыл на окне, и молотком похлопывает себя по ладони. Кто-то даже пахнет по-братски. У кого-то и в этот залитый солнцем майский день зубы стучат от озноба. Кто-то шепчет в пустоту одно-единственное неразборчивое слово. Я еще сплю, я еще ничего не желаю слышать, а это чудовище уже здесь, я устал от него, ему опять от меня что-то надо, надо позарез. Еще не проснувшись, я вижу его карие глаза с темными подглазьями, его клыки, прикусившие мясистые, беспокойные губы. Крылья длинного носа раздуваются, расширенные зрачки устремлены на меня – однако меня не видят. Потолочные балки сбегают куда-то в сторону, стены ходят волнами, стол строит гримасы. В кресле возле стола – изломанная размытая тень, вокруг нее – агрессивный световой ореол. Нейтральные вещи подают ему знаки, он зябко, с кривой короткой ухмылкой кивает в ответ. Да, он принял сигнал, но сейчас пусть они не пытаются вторгнуться в его мозг, который то переполнен, то зияет ледяной пустотой. Он просто, без всяких скандалов хотел бы сначала оглядеться вокруг.

«Ты в порядке?» – спрашиваю я. «В полном». «А врешь зачем?» «Я или молчу, или вру, других вариантов нет. Где тут у тебя микрофон?» «Вон в том яблоке. Можешь его съесть». «Достаточно я глотал микрофонов, они теперь из живота у меня передают информацию. Так что всем и все про меня известно», – говорит он с угрюмой сдержанностью, как человек, который не в первый и не в последний раз сдает бесперспективную шахматную партию. «Я все оттягиваю момент, когда тебя увижу. Я ведь еще не открыл глаза», – даю я ему еще один шанс исчезнуть. Как хорошо было бы, останься его присутствие зыбким миражом где-то вне моих сомкнутых век. Он же норовит набить себе цену; встречи наши всегда начинаются любопытствующим ожиданием: кто первый раскроет объятия, чтобы обнять другого? «Сначала мне в твоей комнате надо вот так, снаружи, обвыкнуться. Она у тебя дышит хрипло, будто простуженная, не замечал?» «Нет», – решительно отвечаю я. Я не иду в расставленную им ловушку, но он упорно тянет меня на свою половину, где мы будем, будто мячи на поле, пасовать друг другу его уродливые по нятия. «У меня даже волосы заплесневели», – выстреливает он в меня сухую жалобу. «Неприятная штука», – уклончиво говорю я. «Знаешь почему? В поезде одна старуха всю дорогу мне в затылок дышала», – хнычет он. А еще какой-то трубочист мял у него над ухом газетную бумагу. И еще в автобусе по дороге сюда на него смотрели с униженным любопытством. Он ощупал свои карманы, но тогда пассажиры стали вести себя еще подозрительнее. Он даже кондуктору не хотел выдавать, куда направляется, на что тот рывкнул на него по-хамски, мол, как же он тогда билет ему даст? Пассажиры с притворной доброжелательностью уговаривали его сказать, до какого населенного пункта он едет, но он только молча тряс головой. Наконец кондуктор, который привез в деревню уже немало чокнутых, с оскорбительным великодушием махнул рукой: дескать, у кого шариков в голове не хватает, может ехать и без билета.

На околице брат слез с автобуса и под садами, потом по склону холма, утыканного старыми надгробиями и черешневыми деревьями с краснеющими уже ягодами, добрался до моего дома. Шел он, озираясь, весь переполненный напряженным ожиданием: когда же кто-то неведомый прыгнет ему на плечи; путь продолжался целую вечность. Ветер швырял ему под ноги какие-то колючие шарики. В старой, заросшей травой бомбовой воронке щипал траву взлохмаченный осел; он посмотрел на Дани и сказал: «Я уже знаю». С той самой минуты Дани зябнет.

Даже собственное тело встает у него на пути, эта сплошная рана с девятью отверстиями, которая функционированием своим лишь подтверждает повсеместность царящего в мире насилия: вверху что-то входит в тебя через семь дырок, а внизу выходит лишь через две.

Он приехал ко мне попрощаться: сегодня вечером он – с легальным паспортом – покинет эту страну навсегда. Поищет на Западе какой-нибудь портовый город, где его возьмут грузчиком. Все свои роли он уже отыграл, провал на провале, теперь остается или исчезнуть в тумане, или проглотить горсть снотворного. Сейчас он собирается поменяться со мною одеждой, чтобы его не узнали; бороду тоже сбреет; или, может, покрасить ее под седину? Из окна вагона он заметил подозрительное перемещение войск; не случайно же, что именно сегодня. Схватить его, может, сегодня еще не планируют, но под колпаком уже держат. Но почему их так много, и зачем танки? Со здешней почты он разошлет свою исповедь, в десяти экземплярах; он соберет все гнусности, лишь бы только бумага вынесла. Я, как старший брат, должен благословить его и проводить на станцию. Еще я должен знать: его уход – что-то вроде тихого самоубийства. «Тихого?» – коварно вздыхаю я. Он обижается: «Ты, конечно, не чувствовал, что со мной творится неладное, верно ведь? И не ждал меня. Открой сейчас же глаза!» «Мне это твое появление, братец, как зубная боль, – говорю я со стоном. – Ты ведь ни разу еще не приезжал просто так. Обещай, что, перед тем как уедешь, не подожжешь этот домишко». Если бы он появлялся у меня реже, я бы не сидел и половины того, что сидел.

Я сажусь в постели и разглядываю феномен в окне: двусторонний пыльник, безупречный бархатный пиджак, все еще неотразимая улыбка. На лбу – морщины треугольником, по-мальчишески любопытный взгляд; но любопытство его сосредоточено главным образом на том, любопытен ли он мне. Мягкие, настороженные движения: он – словно кошка с выгнутой спинкой, которая прыгнет точно туда, куда нужно, если в нее полетит шлепанец. Его можно принять за грабителя банков, за фокусника или за агента какой-нибудь спецслужбы; но если ты рассмотришь его получше, вряд ли согласишься одолжить ему крупную сумму. Хотя этому и противоречит тот факт, что меня он бесчисленное число раз оставлял с носом: ведь кто-кто, а я-то прекрасно знал, что он и ломаного гроша не вернет. Жертва-профессионал, он ждет от меня, чтобы я же еще перед ним и оправдывался; ждал и в тех случаях, когда закладывал меня в органах.

«Но ты по крайней мере не отрицаешь, что твои мысли я пере сказывал в более острой форме, чем ты сам способен был их изложить. Каждый мой донос был маленьким эссе. Согласен?» «Согласен», – покорно вздохнул я; мы сидели вдвоем в одной камере. Тогда, в пятьдесят восьмом, это было самое изощренное наказание, какое только смогло придумать тюремное начальство: нас с Дани заперли вместе. «Сколько я подарил тебе афоризмов, которые хоть на мраморе высекай! В этом моя беда: я и как переводчик всегда работаю за других. А ты, вместо того чтобы спасибо сказать, нотации мне читаешь, изводишь мелкобуржуазным морализаторством. Да через пятьдесят лет, когда рассекретят полицейские архивы, ты благодаря мне бессмертие обретешь». «Благодаря тебе меня чуть не вздернули, братец!» «Это к бессмертию отношения не имеет, – отмахнулся он раздраженно. – Старшие братья вообще глупее младших, только на вид солиднее. С моей помощью ты бы запросто мог попасть в пантеон мучеников. А для того, чтобы книгами своими войти в историю, у тебя талантишку маловато. Тебе не писать, тебе действовать надо. А что может быть эффективнее, чем красиво подойти к виселице? Причем как раз в твоём стиле. А мне ни с какой стороны не подходит! Так что я тут ни при чем, себя вини, что не удалось вскочить на подножку истории. А то, что ты наше вынужденное совместное семейное пребывание отравляешь унылыми и пошлыми нравоучениями, говорит только о дурном вкусе. Ты всегда был немного неповоротлив». Да, уж его-то в неповоротливости обвинить трудно, он метался по камере из угла в угол, словно летучая мышь.

Он принюхивается, морщась, словно чуя запах горящего жирного тряпья, и бросает сквозь зубы: «Смрад себялюбия – вот твоя подлинная стихия». Печенкой чувствую: никуда

мне не деться, вытащит он меня из этой уютной вони. Выражение у него такое, будто ему пора по делам; он высокомерно смотрит куда-то поверх моей головы; да, ему пора, он спешит. «Будь там, где нельзя. Нет таких границ, которые не стоило бы нарушить!» Улицу он всегда переходит на красный свет, я же ступаю на мостовую в тот момент, когда красный готов смениться зеленым. Чего он городит, чего врет опять? Нам ли, двум старым развалинам, пререкаться друг с другом? Ни один из нас никогда по настоящему не блистал ни в несогласии, ни в приспособленчестве.

«Открыть тебе дверь? Или в окно войдешь?» Дверь? Это ему-то? Гибкому, быстрому, как уж, привидению со стажем, профессиональному лунатику? Однажды ночью, когда ему было всего девять лет, я проснулся от того, что он, в красной своей пижаме и тапочках, прошествовал за моим окном по узенькому карнизу, который тянулся на высоте второго этажа вокруг всего нашего дома. Вдруг он поскользнулся и повис на жестяном карнизе на руках. Мне перехватило горло, я только и смог выдавить: «Дани, сюда». Одним движением, взмахнув ногами, он взлетел до окна, упал в мою комнату – и утром ужасно удивлялся: как это он очутился здесь? Я показал ему следы крови на стене – от его пальцев. Наш семейный врач, чья лысая, пахнущая рыбьим жиром голова на моей груди для меня и сегодня – живое, до дрожи, воспоминание, поставил брата между колен: «Ты, сынок, последний лунатик, которого я вижу в своей жизни». Потом посоветовал матери по вечерам закрывать в комнате Дани ставни. «Вырастет ваш сын, тогда и пересганет гулять по стене». Врачебный совет оказался более мудрым, чем предсказание.

Спустя некоторое время случилось следующее: Дани сидел на чердаке и бросал в окруженное решеткой бетонное хранилище боеприпасов горящие спички. Мы все вполне могли бы взлететь на воздух, не загляни случайно на чердак один наш подмастерье, – через секунду он, прыгая через балки, уже гонялся за братом. Дани выскочил на крышу, оттуда перемахнул на ореховое дерево, там, качаясь на ветках, показывал всем задницу, деда нашего обозвал вонючим козлом, плевался в прыгающих под деревом учеников. Дедушка стоял мрачный, прислонившись к столбу качелей; когда Дани, орущего, дрыгающего ногами, наконец поволокли прочь, он лишь тихо спросил: «Ты знал, что от твоих игр дом может взорваться?» Брат кивнул. «Ступай к себе в комнату и кайся!» – сказал наш худошавый дед, чьему многотонному авторитету нельзя было не подчиниться. Дани в своей комнате скрипел зубами и, прижавшись лбом к полу, ревел без умолку четыре часа подряд. «Не хочу быть хорошим!» – орал он с лиловым лицом, когда к нему вошла мать.

3

Собиратель улиток, он бредет по залитому водой лугу; гребет на лодке по старице Дуная; встает до рассвета и уходит ставить снасти на стерлядь; на курящемся утренней дымкой склоне холма собирает белые грибы; словом, бродит где попало или катается на лодке, и все, что найдется, продает. В заповедных лесах за плату считает птичьи гнезда, в зоопарке бросает королевскому тигру говяжье сердце, в луна-парке водит вагончики по американским горкам, вечерами за усыпанным пеплом мраморным столиком в кафе собирает горстями картежный выигрыш; у него никакого желания связывать причинно-следственной связью мысли, бродящие в голове, и средства на проживание.

Как-то, несколько лет назад, я зашел к нему домой: дверь прихожей открыта, он еще не видит меня, но называет по имени, что-то записывая в тетрадь в кожаном переплете. Справа и слева от его лица, желтого, как кость, подсвечник и бутылка с вином. Стол свой он опять перетащил на новое место: его преследуют какие-то бродячие излучения; золотое кольцо на нитке, подвешенное на пальце, неудержимо раскачивается из стороны в сторону. Приходит парень с черными зубами, что-то сует Дани в руку. Тот вставляет в глазницу лупу и бросает: «Фальшивый, не возьму». Когда гость уходит, Дани улыбается мне: «Настоящий был, причем

великолепный, но я выхожу из коммерции с бриллиантами, надоело». И кивает на толстую пачку исписанной бумаги: «Мои прощальные письма. У меня рак печени, жить осталось три недели. Врач говорил, смерть будет приятной».

Выглядит он немного утомленным; вчера вечером в корчме на углу он подружился с каким-то владельцем прачечной: тому все на свете наскучило, он как раз продал прачечную. К полуночи они уже ездили из бара в бар на пяти такси, с толпой прилипших к ним пьяных придворных; Дани был церемониймейстером.

«Жаль, что ты не остался в Америке. Теперь, что бы ты ни делал, обязательно где-нибудь промахнешься, и тебя посадят». Он поучает меня, обзывает последними словами – что в общем-то одно и то же, – изображает рассудительного дядюшку, но ему и это идет. «И чего тебя тянет все время писать? Я тебе уже говорил, что ты не умеешь строить фразы? Для ученого тебе не хватает образования, для писателя – таланта. Ты и в политике – дилетант: хочешь или больше, или меньше, чем можно, а точно прицелиться не способен. Тревожусь я за тебя: паралич сердца чаще всего поражает тех, кто не нашел своего жанра. Матушка наша говорила, что ты – роза, а я – шип. Ладно, я шип, но ведь и ты не стал розой. Если я тоже пописываю, так это – игра, всего лишь продолжение существующего абсурда. Вот письмо на фабрику игрушек: почему бы вам не организовать производство подслушивающих устройств для семейных нужд, пускай родители и дети тайно подслушивают друг друга. Письмо прокурору: святая обязанность государства – создать официальные нормы для ненависти. Образцовый гражданин – во всем впереди, в том числе и в ненависти к ближнему своему. Если нет общего врага, обществу грозит анархия. Мой сосед – прекрасный человек, он не пошел на похороны своей младшей сестры, вспомнив, что как раз на это время в учреждении назначено партсобрание. Недавно было: спускается он передо мною по лестнице, я иду следом, не отстаю, через полчаса он уже бежит; а на третий день вижу: он тоже идет за кем-то; хороший пример заразителен». Дани злорадно усмехается: «Так что я кропотливым трудом создаю шедевры недоброжелательства». «И больше ничего?» – спрашиваю я как бы между прочим. «И больше ничего», – сказал он и вскочил. Отодвинув его, я заглянул в соседнюю комнату: там все завалено газетами с пометками и записями на полях. Я разыскал врача, на которого он ссылался. «Рак печени? – усмехнулся он. – Расстройство желудка: наверно, несвежее мороженое поел».

4

Политика парализовала его страсть к риску. Правда, в этот дурацкий спорт мы с ним влезли по уши оба; если бы мне удалось выбраться раньше, я бы не находился сейчас под прищелом психиатров. Газеты, однако, я читаю не каждую неделю: если начнется война, станет известно и так, а сообщения о том, что такой-то и такой-то политик нанес визит такому-то и такому-то зарубежному коллеге, интересуют меня меньше, чем семейные события у соседа. Дани же испытывает просто болезненную потребность в пожирании газетного текста. Каждое утро я встречаю его в центре города: он вздох поглощает ежедневную прессу. Он скупает все газеты, хотя они похожи друг на друга как две капли воды; он с патологической жадностью вчитывается даже в самые коротенькие заметки, с ухмылкой посвященного сопоставляет и анализирует нюансы риторических оборотов и на первый взгляд ничего не значащие протокольные детали. Я вижу искры вокруг его лба; он – постоянный современник всемирной истории. Если он в данный момент оптимист, то сильные мира сего – персонажи доброй волшебной сказки, только время их еще не пришло. Свою тайную стратегию, направленную на исцеление недугов человечества, они вынуждены маскировать то каким-нибудь массовым убийством, то террором. Давайте же поможем им реализовать их планы устройства земного рая, давайте предложим свои услуги первому же попавшемуся удивленному служащему из центрального комитета. В иные же моменты любая весть – знамение апокалипсиса; вот так лезущие из канализационной

решетки крысы предвещают близкую эпидемию или землетрясение: с рассветом на нас обрушится бедствие, за приход которого все мы в ответе. Род человеческий – всего лишь червивый плод на плодоносящей ветви мирового древа, разум наш – червяк, живущий внутри плода, замедленная форма самоубийства. Бессовестная озверевшая банда; каждый сопляк мнит себя мессией, народным трибуном; придет, придет еще время, когда мы будем жалобно вопить на мусорной лопате, под метлой страшного суда.

Газеты, которые читает Дани, не устаревают, он торопливым почерком заносит на поля свои замечания, и они, словно таблички на перекрестках, указывают направление к его самоистязательской философии истории. Листки с загадочными схемами, родившимися в его голове, он складывает в неряшливые стопы; в городе бродят слухи, что тут готовится, день за днем, тайнописью, какая-то фундаментальная теория. Ход своих логических доказательств Дани собирает перемежать забавными случаями из жизни, поэтому он записывает и сплетни. Газетные небоскребы загромаждают всю комнату, и он расхаживает меж этими шаткими башнями наподобие цапли. Правда, смена жен и квартир вынуждают его время от времени производить сортировку, отделяя подлинное духовное достояние от бумажных плевел. Эксгумированные мысли приводят его в возбуждение, осадок своего выступившего было теоретического запоя он торопливо записывает в толстые тетради. Когда в пальцы вступает судорога, он переходит на магнитофон; вот уже и кассеты заполнены, а настоящая золотая жила все еще впереди. Дело кончается тем, что он вырезает ножницами бумажные полоски и бросает их в мешок; потом ему и это надоедает, пропади все пропадом, самое главное у него и так в голове, самоцельное прекрасное здание держится и без философских подпорок. Да, да, именно так: о чем бы ни шла речь, ему всегда приходит в голову одно и то же. Беда лишь в том, что, когда остатки своей коллекции он готов вверить мусорному ведру, его вдруг одолевает тревога: а вдруг мусорщикам придет в голову разобрать эти газетные лоскутки, в надежде за один-два мешка подстрекательских материалов получить от компетентных органов хотя бы на чай. «Дурак ты и параноик», – говорю я в таких случаях; Дани, однако, если уж он вошел в роль, и страх способен смаковать до конца. «Вся моя философия – противоядие против паранойи: душой я перевоплощаюсь в то, что вызывает страх. Если ты ни в чем не виноват, тебе нечего и бояться».

Дани вызвали в полицию. И предупредили: то, чем он занимается, есть чистой воды подстрекательство и подрыв устоев государства. По-иному квалифицировать это нельзя, даже если он, например, сидит в ресторане и болтает смазливой официантке все, что придет в голову. И даже если его аппетитная слушательница ни слова не понимает из того, что он говорит. Правда, исполняя свои философские арии, Дани эффектно жестикулирует, а произнося самые ударные выводы, подмигивает девушке; официантка же, пересказывая беседы с Дани ухажеру, автомеханику, дразнит его: мол, содрать трусы да завалить девку на кровать – это всякий умеет, а вот на умные темы поговорить!.. На полицейских красноречие Дани такого обезоруживающего впечатления не производит; у них даже не хватает терпения дослушать его до конца: какое-то время они смотрят на его не закрывающийся рот, на брызги слюны, потом, поскольку им не хочется опять сажать его за решетку, просят, чтобы он немного унял свою словоохотливость. «Мы ведь не требуем, чтобы вы были против нас или за нас. Просто сидите тихо, и все». Но тут-то как раз и зарыта собака; не только мания преследования заставляет Дани, выйдя из участка, хватать такси и мчаться за город, на мусорную свалку, чтобы там разжечь костер из своих теоретических фантазий, совершая почти акт самосожжения, – возможно, это советует ему и здравый смысл. В такие дни Дани выглядит изнуренным и духом, и телом, у него уже нет желания оставить после себя в мировой культуре нетленные следы. Пророк с замком на губах; послание к человечеству комом стоит у него в горле, не в силах вырваться на свободу. Брат молча бродит по городу, который в каждой подворотне прелюбодействует с ложью.

5

«Темные очки? Не сниму, не проси! Нечего тебе смотреть мне в глаза. У меня и пробки для ушей есть, заглушу все звуки, на нервы действует этот шум. Они на все мои органы чувств поставили фильтры; что ж, тогда и я подвергну мир цензуре. Не говорить я не могу, но слушать себя – смертельно скучно. Что ты мне лоб шупаешь? Да, у меня жар! Плеврит. Вырваться хочется из самого себя. Они преследуют меня, а я преследую себя еще больше: здесь нужна революция. Не бойся: в один прекрасный день я встану в самом себе на сторону преследуемого. И не думай, будто я тебя не слушаю! Я как раз ломаю голову, почему у тебя не находится для меня ни единого слова. Может, я, по-твоему, всего лишь старый, изовравшийся шут гороховый? Что-то ты не торопишься возражать, должен заметить. И все-таки ты меня любишь? Как это у тебя получается? Что ж ты не говоришь тогда, что никакой я не шут гороховый? Я почему сижу? Потому что думаю: и чего это я не встаю? Как было бы здорово, если бы я умел молиться: Бог – он не стукач, ему я могу все сказать, что думаю, и если он есть, если видит меня, то наверняка понимает, что я лучше, чем думают мои недоброжелатели; понимает, что я лучше даже, чем ты. Почему ты не доверяешь мне? Ты считаешь, линия жизни у меня коротка и я самого себя пережил? Тут один иеговист предсказывал на прошлый год конец света. В этом году встречаю его: „Ну что, старина, живем?“ Он поднимает на меня взгляд: „А ты в этом уверен?“»

Дани вынимает визитную карточку, миниатюрную шариковую ручку, большими кривыми буквами пишет что-то. Когда места на визитке не остается, он пишет между строчек, потом поворачивает визитку и пишет поперек. Наконец, с торжественным выражением смотрит на меня: «Только что я зафиксировал самую выдающуюся мысль своей жизни. Если дано мне будет немного покоя, этого кусочка бумаги хватит, чтобы создать свой главный труд. Причем, заметь: в состоянии полного краха. Понимаешь? Этим трудом я сам вытащу себя из краха».

Он достает из кармана складной нож с костяной ручкой, большим пальцем касается кнопки сбоку, выскакивает блестящее лезвие; я слежу за его руками. Ага, вот!.. Я отдергиваю голову; нож вонзается в потолочную балку. Дани: «Удачный бросок!» «Уж куда удачней. Не отклонись я, он бы у меня в горле торчал». «Не будешь зевать», – сухо замечает он.

Кулаком он тоже действует неплохо. Как-то мы встретились с ним в одном ресторане; он уже полчаса играет в гляделки с какой-то сонной, с рыбьим ртом женщиной. Один из мужчин, пивших пиво с ней рядом, в конце концов поворачивается к нему: тебе что, смотреть больше некуда? Дани отрицательно трясет головой. Потом подзывает официанта: «Этого господина видите? Так вот: запеките мне его целиком, да не забудьте ломтик лимона в рот сунуть!» Я порываюсь уйти, но он уже толкает меня, чтобы я встал у стены рядом с ним; его вытянутый кулак смачно врезается в подвернувшуюся широкую челюсть. «Знаешь, кто они такие?» Я не знаю, но догадываюсь. Его точные удары посылают нападающих кого в тарелку с ухой, кого в говяжий гуляш. Один надзиратель в тюрьме постоянно шпынял его за то, что одеяло на его нарах лежало не совсем гладко; однажды, когда принесли обед, Дани выплеснул ему в физиономию тарелку тыквенной баланды. Его избили так, что лицо у него распухло, он две недели провел в карцере, в темноте, сидя на досках, брошенных на пол; кормили его через день, давая полпорции. «Терпеть не могу тыквенную баланду, – ухмылялся он, когда, шатаясь от слабости, вернулся в нашу камеру. – Видел, как она у него по морде текла?»

Он не любил, когда его били, но к побоям относился с любопытством. В школе, в первом классе, возвращаясь домой, он вновь и вновь, как преступник на место преступления, сворачивал к лавке, где торговали рыбами и птицами; хромой владелец, который целыми днями скрипуче препирался со своим попугаем, однажды выкинул Дани вон, взяв его за ухо.

Выбрав момент, пока владелец упаковывал кому-то сушеных дафний, Дани украдкой пооткрывал клетки с птицами; помещение заполнил суматошный шум крыльев. Владелец, размахивая костью, бежал следом за нами и орал: «Держите их!»; ему было плевать, что беспокойный его товар вылетает в распахнутые двери. Убегавшего Дани поймал посыльный из адвокатской конторы, щеголь, которому брат как-то натер чесноком спину его клетчатого пиджака. «Ах ты, наказание божье! Да ты знаешь, что я с тобой сделаю?» «Что?» – с искренним интересом поднял на него глаза мой братишка. «Господи Боже мой! – застонал лавочник. – Ничего. Ничего, и убирайся, а не то убью тебя до смерти». Подростком Дани уезжал на велосипеде в соседние деревни, на танцы, и пока местная молодежь под кларнет и гармонию чинно топталась на посыпанной опилками площадке, под навесом из виноградной лозы, он выбирал девок потолще и, танцуя, старательно тискал их. Его вызвали к речке; там его били вчетвером; домой Дани привезли на телеге. Несколько дней он лежал в бреду; и немудрено: его пинали ногами в голову.

«Без битья нет ясного взгляда на жизнь, – сказал Дани однажды. – Кого никогда не били, тот ничего не знает. Если власть на градит тебя увесистой оплеухой, это только полезно для здоровья; куда полезнее, чем, скажем, печатное оскорбление! Тебе врезали, ты врезал, и пусть ты в проигрыше, все равно это как-то по-человечески. Люблю наблюдать, что происходит у человека на лице, пока он решится поднять на другого руку. Интересен мне процесс, как человек опускается до такого состояния. Вот недавно: сижу у Дуная, дело к вечеру. Проглотил я таблетку какую-то, которая мне на пару часов серое вещество делает радужным, и вижу: от солнца взбегает с воды вверх по ступенькам кроваво-красная ковровая дорожка. Я – ноги в руки, солнце – за мной; вваливаюсь в пивную, ищу запасный выход. Прошу троих мужиков, чтобы встали: наверняка дверь за ними. Вон он, сортир-то, добродушно показывают они в другую сторону. Я – свое: мол, встаньте, и все тут. Ну, они быстро грубеют. „Бить будете? – спрашиваю. – Никаких препятствий. Бейте“. Получаю ленивую такую затрещину. „Это все?“ – спрашиваю. „Отвяжись, парень, нам от тебя ничего не надо“. В общем, не опустили они до битья, а мне стыдно стало. Я – такой, каждой бочке затычка, и вся моя философия – всего лишь оправдание этого недостатка».

Пускай смерть дышит ему в лицо; если же смерть приближаться не хочет, ничего, он сам пойдет к ней. Как-то на Рождество, поздно вечером, он вскочил на мотоцикл и мчался по оледеневшим дорогам несколько сот километров, чтобы отвезти юной цыганке с торчащими передними зубами бальное платье с серебристыми чешуйками, хотя уместность этого платья в глинобитной хибаре, отапливаемой кизяком, была более чем сомнительна. Правда, шестнадцатилетняя девушка, чьим мужем он был целую неделю, чуть с ума не сошла от счастья, получив такой подарок. А уж автомобильные гонки! Однажды (у него как раз появилась первая машина) он отправился в горы кататься на лыжах; в отеле он подружился с каскадерами – и тут же, конечно, заключил с ними пари: кто скорее спустится на автомобиле с горы и доберется до города. Он вырвался вперед, но потом машина пошла кувырком, ее сплющило в лепешку; каскадеры мрачно двинулись вниз – хотя бы найти труп. «Ну что, попугаи, сдрейфили?» – прохрипел брат из дымящейся груды железного лома. Машину, впрочем, удалось оживить, и Дани не расставался с ней еще несколько лет. Ржавое, латаное-перелатаное транспортное средство это словно собрало в себе все несчастья Восточной Европы, все следы пренебрежительного обращения с техникой; но чем старше становилась машина, чем ужаснее она выглядела, тем нежнее относился к ней Дани. Прежде чем сесть в нее, он каждый раз поднимал крышку капота и дергал какую-то перекрученную проволоку: мотор заводился. А когда они, с пыхтеньем, скрежетом и оглушительными выхлопами, возвращались домой и Дани поднимался с подпертого кирпичами сиденья, люди на площади смотрели на них с веселым дружелюбием. Хозяин и его драндулет так хорошо изучили друг друга, пережили вместе столько унижений, что Дани, этот ангел непостоянства, привязался к машине, как к состарившейся преданной собаке. И когда

она уже перестала шевелиться, он все равно не решился отдать ее под пресс; потратив два дня, он выкопал на опушке леса большую яму и похоронил ее, словно близкое существо.

Я не в силах оторвать взгляда от беспокойных шагов Дани; он как будто спасается бегством, мечась из угла в угол, от одной стены до другой и, подобно какому-то рассеянному дятлу, стуча костяшками пальцев по каждому предмету обстановки, который попадает на пути. Сняв колпачок с моей авторучки, зачем-то нюхает его; вынув букет тюльпанов, заглядывает в вазу. Бег его ускоряется; я чувствую, что уже и сам устал наблюдать за ним; наконец, он садится в кресло и распрямляет один за другим ежа тые в кулак пальцы. Потом, спохватившись, выхватывает из кармана какие-то пузырьки, глотает таблетки, мозг его возбуждается, и он жестами дирижера чертит свои мысли прямо в воздухе перед собой. Я подвигаю ему хлеб, сыр; он, понюхав, кладет их обратно. Роняет на грудь голову, словно вор-неудачник, который лишь сейчас понял, что с этой балки под самой крышей, куда он каким-то чудом забрался, ему ни за что не спуститься. Будто молясь, складывает на груди руки, вертит туда-сюда головой, улыбается каким-то своим мыслям, раскачивается взад-вперед. Озирается вокруг: «Ты кого-нибудь ждешь? Никого? Тогда закрой дверь на ключ и, кто бы ни пришел, не пускай. Я столько лет готовился к этому разговору. Я твердо решил: пора вырваться из их грязных лап, понимаешь? Ведь и до сих пор: это не их руки были такими длинными, это я отдал им поводок своих хи мер. И они за него ухватились, за него держаться легко; но сейчас я проснулся. Мне бы только чуть-чуть сил побольше! Я два дня уже ничего не ем. Знаешь, что я вижу все время? Конец лета, на жнивье лежит мертвое тело, мухи ползают по открытым глазам. Это – я. Скажи, чего бояться человеку, если он не трус? Я сдаю партию; все, что у меня еще впереди, нелепо и скучно. Не хочу ничего, никакого решения! Не могу я уже жить ни с кем. Я ни к чему не привязан, а жить можно, только если ты привязан к чему-то. Теперь я настроен лишь уходить, разрывать, прощаться. Иногда, представляешь, меня даже тянет обратно в тюрьму: там я, может быть, и обрел бы покой. Но и этого не будет; будет только глупость, будет только упадок. Я теперь способен только отталкивать все от себя, никого ни в чем не хочу убеждать, уговаривать, не хочу к себе никого привязывать. Я до того заскорузл, что меня скорей разорвет, чем растя нет, я скорее погибну, чем обновлюсь. Мне бы искать простые, растительные решения; да беда в том, что я – не растение. Не могу с интересом взирать на то, что доставляет боль; я – болен.

Я запутался в дрызгах, я слишком долго толкал воду в ступе, и из всей этой бури страстей родилось лишь несколько дурацких банальностей. Я чувствую себя слишком уж дома. Я исчезаю; куда – понятия не имею; но ты от меня избавишься».

6

«С Тери у нас дела такие, что я или себя убью, или ее. Пристукну чем-нибудь: молотком, подсвечником, бутылкой из-под вина. А скорее всего, уйду куда глаза глядят, чтоб не было даже возможности прикасаться к ней. Это мое проклятие: все время тянет к ней прикоснуться. Все мои женщины были смуглыми, Тери – как сахар-рафинад. У других соски на груди коричневые, у нее – розовые, как губы младенца. И лоно – такое же. Тело ее доставляет мне наслаждение, как в детстве, ты ведь помнишь, рисовая молочная кашка с изюмом, ванилью, корицей. Когда я говорю с ней по телефону, ее голос у меня в позвоночнике отдается; если ее нет дома, я глажу рукой ее блузку на спинке стула. Я сплю рядом с ней – и вижу ее во сне, вижу ее лицо, разное с двух сторон: левая половина смеется, правая – прощается. А когда проснусь, пальцами глажу подушку, куда натекла слюна из ее обиженных, детских губ. Она явилась на землю первого апреля, в воскресенье, она – единственный предмет роскоши, который я себе позволяю; если я останусь, то никогда не смогу ее отпустить от себя».

«Нимфоманка, мифоманка, наркоманка, аферистка, бродяжка, пьянчужка, шлюха, не вылезающая из скандалов. Деньги мои она бросает на ветер, платья дарит направо-налево, влезает в любой разговор, и при этом умопомрачительно обидчива. Если меня нет дома, ей мерещатся привидения, она убегает, куда глаза глядят, а ты будь добр, ищи ее в полиции или в вытрезвителе. Истеричка, психопатка, но не сумасшедшая: просто натура у нее такая, и такой останется. Любая комната, куда она входит, становится театром, где она – примадонна, а все остальные – зрители. Если она есть, то нет больше никого, а кто пробует противиться, того она беспощадно жалит; впрочем, жалит она и того, кто от нее в восторге. Она по-настоящему зла, зло она обожает; тут даже я не гожусь ей в подметки. На мужчин она смотрит, как рыбак – на рыбный пруд: вытащит карпа, швырнет обратно. Я же рядом с ней просто слепну, я никого, кроме нее, не вижу. Она на тридцать лет моложе меня. Она готова терзать меня до смерти, но бросать – не бросает. „Не сдавайся, единственный мой“, – шепчет она мне на ухо, и тут же кусает».

«Приходит к нам молодая пара, Тери уводит парня в соседнюю комнату и там – стонет, визжит, воеет, специально для меня воеет, будто на последнем издыхании; со мной – никогда такого экстаза, как с этим, не знаю с кем. Молодая жена криво улыбается, не знает, куда деть глаза, потом откидывается на спину, тянет меня к себе, я глажу ее, как лошадь или диванную подушку. Тери: „О, сомни меня, сломай! Уничтожь! Я чувствую, ты здесь, у меня в голове, ты везде“. На следующее утро я жарю яичницу, он разглядывает какого-то паука на стене. „Ты что, любишь этого?“ „А, брось, я его почти и не помню. Устроила ему небольшой концерт, вот и все“. От пощечины она падает на пол, я встаю над ней, мочусь на нее. Она мотает головой из стороны в сторону: „Накажи меня, милый, я всегда играю для тебя, и все гда – против тебя. Я хотела, чтобы ты плакал от унижения, а видишь, опять реву я, а не ты“. Она колотит меня, пока хватает сил, лицо у нее в моче и слезах, я ее обожаю – и плачу с ней вместе. Мы сидим в ванне, она пытается рассмешить меня; обычное дело: сначала смешает с грязью, потом заискивает, ухаживает. После ванны мы сидим, прижавшись друг к другу, читаем; звонок в дверь, она выходит и долго не возвращается, я иду за ней: она стоит, опираясь локтями на кухонный стол, длинная юбка на шее, трусов она никогда не носит, а за спиной у нее – молодой мужчина: газовщик, пришел снять показания счетчика. Я выгоняю его, а ее опять колочу, она швыряет на пол кастрюлю с мясным супом, топчет мясо, кричит истерически: „Да пойми ты, у меня же ничего больше нет! Они рады, когда я задираю юбку. Когда задница у меня будет дряблая и холодная, тогда же никто к ней не потянется“. Противоречие это неразрешимо: мне тоже нравится, что зад у нее горячий и упругий, но не нравится, что он нравится другим».

«Гости приходят к нам часто, в основном это молодые парни, они знают: если Тери идет варить кофе, есть смысл увязаться за ней. Я, стиснув зубы, сижу в комнате, поддерживаю беседу, потом не выдерживаю, иду следом: они стоят в кухне, тесно обнявшись, парень гладит волосы Тери, под ногтями у него черная кайма; я топчусь у них за спиной, но им наплевать. На другой день Тери просит, чтобы я пошел спать в маленькую комнату, в большой комнате кровать шире, их – двое, я – один. Если мне хочется, я могу подержать ее голову в момент оргазма. „Мы, женщины, способны на большее, тебе и одного раза достаточно, мне и десяти мало“. Раньше она была пловчиха, теперь у нее такой вот вид спорта. „Ты, говорит, просто представить не можешь, какую благодарность чувствует к тебе какой-нибудь совершенно чужой мужчина, если ему просто так дашь. Мне это ведь ничего не стоит, если он не совсем уж омерзительный. Но жить я могу – только с тобой“. Жить. В прошлом месяце я привез ее домой из больницы для самоубийц. Она приняла кучу каких-то таблеток; врачу поклялась, что больше так делать не будет. „Ты ведь знаешь, чего стоит мое честное слово, – сказала она, когда мы вышли из больницы, и пнула камешек, тот улетел и провалился в решетку канализации. – Мне психолог в отделении говорит: вы, говорит, наносите ущерб государству, норовя испортить такую великолепную производительную силу. Я есть хочу, купи мне, милый, яйцо под майонезом“».

«Перед нашим домом телефон-автомат, на стене будки – надпись карандашом: „Тери клевая телка. Звони ей в любое время. На пустыре за углом дает бесплатно“. И – наш телефонный номер. Если звонит телефон, она бежит первая. Спросишь, кто это – она в истерику, визжит, вся красная: „Да пойми ты, я человек независимый, нечего меня контролировать. Ты меня подавляешь, ты замуровать меня хочешь!“ Я и так, и этак: ты хоть понимаешь, как ты меня-то позоришь такой вот настенной литературой? Тут она совсем не выдерживает: она ведь пыталась оставаться в сфере высоких материй, а я ей такое; не спрячься я вовремя за письменным столом, она бы угостила меня каблуком по яйцам. Со свиданий своих она возвращается, загадочно улыбаясь; когда я спрашиваю, где была, она только рукой машет: ах, мол, не будь мелочным. Даже вроде бы мириться готова, тащит меня в постель, но вдруг принимается кусаться, щипать меня, засовывает свой длинный указательный палец мне в рот, до самой глотки. Потом снова гости, Тери лезет из кожи, не зная, как себя еще показать: сначала со светским видом щебечет о фильмах, один фильм, вполне сносный, с убийственной иронией разделывает под орех, другой, совершенно дерьмовый, объявляет шедевром – чтобы продемонстрировать, что у нее-де тоже есть свое мнение. Потом ошарашивает всех злобными тирадами в адрес своей матери: однажды это чудовище отшлепало ее по заднюшке, и знаете за что? За то, что она накакала мимо горшка. Я могу представить и более ужасные проступки, но пока лишь позволяю себе усомниться: как Тери все это запомнила? Она кричит в истерике, что я пытаюсь выставить ее лгуньей. Потом, снова развеселившись, исчезает – и возвращается с блюдом бутербродов, совершенно голая, приносит краски: пускай ее рисуют все вместе, она хочет быть коллективным произведением искусства. Другие дамы тоже принимаются бесстыдно раздеваться: мол, рисуйте и нас; вокруг – расплывшиеся, не очень ароматно пахнущие тела, я сижу в наушниках, в голове у меня – оглушительный грохот музыки, я мечтаю исчезнуть куда-нибудь. Тери стаскивает с меня наушники: „Моя мать убила моего отца, а я тебя убью“. „Почему?“ „А так“. И упархивает куда-то. Снова музыка; я верю, что она в самом деле этого хочет. Она возвращается: „Но знай: пока я тебя не убила медленной смертью, мне нужен только ты. Если сбежишь, пойду за тобой на край света. Ты меня знаешь, и ты меня простишь. Даже если я до отчаяния тебя доведу, все равно – простишь. А я буду тебе хорошей вдовой: если дашь денег, сошью себе платье, траурное, облегающее. Чтобы еще у твоей могилы меня многие захотели“».

«На прошлой неделе я слегка разозлился на нее за что-то; она от меня – на чердак, оттуда – на крышу, я гонялся за ней между трубами. Жильцы позвали консьержа, но тот боится высоты, он нас из слухового окна ругал, дескать, негоже в моем возрасте играть в салочки. „Уходи, – сказал я ей, когда мы вернулись в квартиру. – Вот твой чемодан, с ним ты пришла ко мне от своего мужа. Три года мы выдержали вместе, теперь убирайся, изводи кого-нибудь из моих друзей; все равно ведь среди них нет ни одного, кто еще не переспал бы с тобой“. Проходит пара часов, звонит в дверь сосед: „Пусти ты ее домой-то, она с чемоданом сидит на лестнице, плачет“. Тери и вправду там, вся замерзла; оказывается, ее изнасиловал таксист. „Дал мне оплеуху, я испугалась. Из-за тебя все это: он почувствовал, что я в отчаянии. А у меня менструация, все сиденье было в крови. Он меня звал выпить что-нибудь; ты что, думаешь, я буду пить с тем, кто меня изнасиловал? – отвечаю я ему. Яичники у меня болят, душ принять надо, и есть я хочу. В холодильнике жареный цыпленок, я сама готовила, имею я право поесть немного?“ В самом деле, разве она не имеет такого права? Уложил я ее в постель, чай приготовил, принес цыпленка, мы слушали музыку, я ей что-то рассказывал, она попросила разрешения взять меня за руку. Полусонная уже, прижалась она ко мне, пробормотала, что, если мне так хочется, я могу выгнать ее и завтра, а сейчас у нее небольшой насморк, и спать очень хочется».

«На другой день у меня тоже поднялась температура, и она со мной нянчилась, как с младенцем; а еду готовила с таким изощренным вкусом, будто повар-диетолог из какого-нибудь четырехзвездочного ресторана. Все рубашки мои перегладила, сделала мне массаж, постригла,

втирала какие-то мази, витамины давала. Я пожаловался на сердце. „Господи, вот было бы здорово, если бы ты умер прямо на мне!“ „А вдруг у меня инфаркт: выйду в кухню – и бряк на пол“. Мне стало жалко себя, ей – тоже, сидит вся в слезах. Потом опустилась передо мной на колени, такая ароматная, грациозная, платье на ней зеленое, маникюр на пальцах зеленый; она даже во всех этих скандалах никогда не забывает следить за собой. Дважды в день принимает ванну. Я должен сидеть рядом, она придирчиво ведет учет моим комплиментам, недавно вот расплакалась, потому что какая-то посторонняя женщина более искренне восхитилась формой ее носа, чем обычно делаю я. Она завертывается в купальную простыню; „Чего тебе от меня надо?“ – спрашиваю я уныло. „Чтобы ты любил меня и не критиковал, – отвечает она с жестокой улыбкой. – Чтобы считал совершенством“. Она до того испорчена, что это уже чуть ли не целомудрие; может быть, она и вправду совершенство? „Три года я терплю твои истерики, так что немного покоя мне не помешало бы“, – говорю я. На это она, в одном халатике на голое тело, выскакивает на улицу, в февральский снегопад. Я беру ее шубу, неторопливо иду следом; знаю, далеко она не уйдет, ждет, чтобы я ее догнал. „В дурдом тебя сдать, что ли?“ – говорю я измученно. „Я там уже два раза была, и два раза меня отпускали. Голова у меня в порядке, только характер скверный. Точно как у тебя, милый. Лучше веди меня в ресторан“».

«Гардеробщица смотрит на нее ошеломленно. „Дама не будет снимать шубу, – говорю я, – она в одном халате“. Терн сыплет в еду сахар, соль, льет уксус, потом кривит губы: это же нельзя есть; я заказываю другое блюдо, самое дорогое; она вдруг раздражается плачем: сколько людей в третьем мире сейчас голодают. «Тише», – говорю я; она начинает кричать: „Ты меня не успокаивай! Ну и что: смотрят? Пускай смотрят, пускай у них зенки повылезают! Они тут обжираются, а там дети мрут с голоду“. „Истеричка паршивая“, – шепчу я; это помогает. Дома я три дня не разговариваю с ней. Она в отместку три дня не моется. Потом, ластясь ко мне, шепотом, словно большой секрет, сообщает: „Ух, какие у меня ноги вонючие!“ Сидит на ковре, нюхает свои ноги и ликует: в самом деле вонючие. Была у меня попытка вырваться из заколдованного круга: другая женщина, теплая, ласковая, как мать, во всем противоположность Тери, но почти такая же красивая, как та. Тери зазвала ее к нам, увела к себе в комнату, примеряла на нее свои платья, гладила, соблазняла. Женщина исхудала, почернела, мне дерзит, целуется с Тери; она отравлена. Тери торжествует. Когда я в городе, она преследует меня своими бесовскими телефонными звонками; я не могу постичь, как она находит меня, а она посмеивается: это, мол, мой маленький секрет, просто ей любопытно, какой гостинец я ей принесу: хоть веточку или камушек. Уходя из дому, я оглядываюсь, поднимаю глаза на наш балкон, иду с вывернутой шеей до самого угла; а когда возвращаюсь, она опять там, или ждет на углу: чувствует, когда я должен вернуться».

«Тайно от нее я выправил себе загранпаспорт; она шарил в ящиках моего стола, конечно, обнаружила его – и зашипела от ненависти. Вечером приходят гости – стервятники, гиены, сладострастные сплетники – приходят чуть ли не благоговейно, словно в театр: ведь то, что у нас разыгрывается, – не беззубая мелодрама. „Налей и мне, стукачок ты мой милый“, – говорит Тери. Бутылка у меня в руке замирает. „Наливай, наливай, – поет она сладкозвучной флейтой, – все ведь знают, что ты своего брата заложил. А вы следите за своими словами, не болтайте перед ним, что попало“. „Хватит“, – говорю я. „Скажи ему, что он стукач. Он трусливый, он тебя не ударит“, – подначивает Тери какого-то юнца. „Не могу“, – сопротивляется тот. „Если скажешь, я с тобой лягу. Даю пять минут, я пока постелю“. И медленно, церемонно разбирает постель в соседней комнате. „Правда же, вы не стукач?“ – весь красный, спрашивает юнец. Я молча смотрю на него. „Боже мой“, – говорит парень и убегает. Гости тоже начинают собираться. „А где же моя любовь?“ – томно спрашивает Тери. „А моя где?“ „Перед тобой, идиот. Когда ты весь будешь исколот, изранен, тогда и меня будешь любить по-настоящему. Пока ты горд, пока помнишь о своем самолюбии, ты меня не любишь. Сколько грязи тут оставили эти стервятники! Смотрят, как я тебя медленно убиваю, и ржут про себя, потому что тебя можно убивать

каждый день. А ты каждое утро воскресаешь и садишься за стол, переводить“. Это верно, в день по двадцать страниц, на магнитофон, в сумасшедшем темпе, две машинистки едва за мной успевают. Тери нужны деньги, я должен ее содержать, если она поступит на службу, на третий день ее выгонят. Она становится передо мной на колени: „Счастье мое, нет на земле другого человека, который бы все это терпел. Я не могу измениться; я ведь только и живу, когда тебя унижаю. Если нет никакого скандала, мне кажется, ты меня и не любишь вовсе, я для тебя – пустое место. Призрак из склепа, который сосет твою кровь, и ты не можешь меня прогнать, а я уничтожаю всех, кто бы мог меня заменить в твоём сердце. Выдержи меня еще немного, помоги мне, я тебя мучаю, но не виню ни в чем“. „Давай ложиться“, – говорю я; я уже не слышу ее слов, все кажется мне каким-то нелепым, ненужным, как радио, которое забыли выключить, и в нем продолжается трансляция какого-то спектакля. Среди ночи я просыпаюсь от ее рыданий: перед сном я, видишь ли, не пожелал ей спокойной ночи. Ничего, пускай рыдает».

«Всю неделю мне не по себе; на улице я озираюсь: у меня такое ощущение, будто за мной следят. Вполне возможно, что никакой слежки нет; мало ли людей на улице у меня за спиной. Я просто переутомился: слишком много кошмарных историй. От философии моей остались ключья. В квартире у нас есть изразцовая печь, в ней я на рассвете сжег все свои записи. И в это утро не сел за машинку. У Тери глаза полезли на лоб. „Устал, – сказал я ей. – Пойду погуляю“. „Подожди немного, – встrepенулась она и стала показывать мне свои детские фотографии. – Вот это – мой старший брат, самый любимый, с ним мы всегда купались в ванне“. Она присела рядом со мной, устроившись так, чтобы ее мокрый после купанья затылок оказался у меня в ладони. Мне было уже все равно, какова ее кожа на ощупь; я гладил ее, словно в перчатке. „Мне снилось, – сказала она, – тыходишь в море, абсолютно спокойный, и медленно исчезаешь“. Ее нагота, ее сны – всему конец. Я в силах обойтись без нее; ее присутствия слишком, слишком много. Я хочу просыпаться в постели один. „Ты не слушаешь меня, – сказала она. – Наверно, я пересолила где-то“. „Я пошел“, – ответил я. Она проводила меня до двери, я погладил ее печальное лицо, коснулся морщинок под глазами; эти три года и ей нелегко дались. Она поймала мою руку и поцеловала в ладонь. Дойдя до угла, я оглянулся: ее на балконе не было. Мир велик, я исчезну в нем. У меня с собой – ничего, кроме паспорта. Завтра в каком-нибудь цюрихском отеле выплещусь от души, послезавтра попрошу политического убежища, буду работать. Хорошо бы податься в грузчики или крановщики; еще лучше – шофером грузовика. С головой у меня все в порядке, как и у тебя. Сейчас Тери и режим видятся мне вместе, они похожи, две диктатуры, я устал от их истерик. Если ты пытаешься уклониться от их надзора, они обижаются, рыдают. Я никому ничего не желаю больше доказывать, даже самому себе. От людей, что меня окружают, мне ничего не надо, кроме вежливого равнодушия. Дай стакан вина, обними меня, и я уйду».

7

Близ городка – еврейское кладбище; перед ним в утреннем дождике подрагивает чисто вымытая тополевая аллея; решетчатая калитка, оторванная от проржавевших петель, стоит, прислоненная к каменной ограде: вынести отсюда нечего, да и сюда внести – уже некого. Кладбище – не столько кладбище, сколько музей; пополнение, которого оно ждет, или ушло в небо дымом, или выкрестилось, или уехало. На протяжении либерального столетия еврейская община разрасталась; правовые основы для этого имелись, и состоятельные семьи покупали на кладбище целые участки, чтобы потом, после трудов праведных, почивать там сморщенными изюминками в рассыпчатом пятничном хлебе, лицом к востоку, в длинной, до пят, белой рубахе, с камешками, прижимающими веки. «Теперь ты свободен, и мы скорбим о тебе», – высекли на надгробном камне близкие и, прочитав зауспокойный кадиш, возвращались к своим делам: торговым, домашним, – а душа усопшего пускай витает себе, где ей взду-

мается. Ни сторожа, ни раввина, ни могильщика, только густой птичий гам; наконец ко мне, словно хранитель музея, подходит коза с бакенбардами. Она опускает лоб с траурной звездой, я беру ее за теплые рога с поперечными бороздками, и она ведет меня к надгробью моей семьи. «Это они, верно?» И, не дожидаясь ответа, прямо над моим дедом, в высокой, до козьего живота, траве, откусывает сочную ромашку.

Да, это они; выдающаяся семья, выдающиеся надгробья. Словно на богослужении в первом ряду оплаченной ложи, сомкнутой черной шеренгой стоят, отшлифованные дождями и ветром, угольно-черные гранитные призмы; каждая обошла дорожку, чем небольшой дом для целой семьи; даже война не причинила этим надгробьям никакого ущерба, автоматные очереди отскакивали от них рикошетом. На камнях – двуязычные надписи: почетные граждане городка, высокомерные и щедрые, даже из-под земли пытаются разговаривать с потомством. В накрахмаленных воротничках, в галстуках бабочкой, с золотой часовой цепочкой, свисающей из жилетного кармана, с выражением достоинства, приправленного каплей надменной иронии, смотрят они на меня. На надгробьях у мужчин – две руки с раздвинутыми в середине пальцами, знак коханитов. Это их в церквях с куполами-луковицами приглашали к ковчегу с резными дверцами для выполнения почетной задачи: достать свиток рукописной торы в кедровом футляре и, держа ее на руках, как младенца, пропеть стихи святого благословения.

Когда молодцеватый барон в лавке моего деда просил снять ему со стеллажа, одну за другой, нарезные двустволки с инкрустациями – говорят, за какой-нибудь час он мог уложить на лесную подстилку несколько сотен перепелов и вальдшнепов, – дед мой, с лукавой улыбочкой между белыми закрученными усами и раздвоенной бородкой, с готовностью рассказывал ему об особенностях ружей. «Заходите еще, почту за честь, господин барон», – говорил он в дверях. Потом позвал меня в кабинет: «Кто-то из предков этого господина двести лет назад, в награду за то, что предал повстанцев Ракоци, получил титул барона. Но не стоит его презирать: он тоже человек. Вы же – семя Аароново, дворянскому древу вашему уже три тысячи лет; только ваши предки, верховные раввины, имели право входить в шатер со святыми реликвиями и касаться каменных скрижалей с Божьим откровением. Ты, дитя мое, тоже будешь раздавать благословение: пальцы твои не должны быть испачканы кровью, и в сад мертвых входить ты не должен. Раздающий благословение берет на себя грех народа, чтобы в святилище просить у Господа милости для согрешивших. Всевышнего ты можешь просить о прощении даже для убийцы, но никогда – с ненавистью в сердце, питаемой к ближнему своему».

И тут в лавку вошел Томка, городской золотарь; повозка его в ослиной упряжке с большой бочкой смердела на улице перед дверью. Дед быстрой, семенящей походкой тут же вышел из кабинета распорядиться, чтобы господина Томку обслужили вне очереди. Золотарь, в заячьей папахе на голове и с висящей на шее фляжкой для палинки, удостоился обхождения лучшего, чем барон, – только чтобы быстрее убрался вместе со шлейфом своего аромата. Мне жаль было Томку; когда он отпивал свою самоанестезирующую сливовицу, я видел, он бы охотно потянул время, чтобы, подобно мастеровым, которые пахли гораздо лучше, пофилософствовать с дедом о том о сем. «Господин Томка хотел бы еще побыть, пообщаться, а вы его вытолкали». Дед состроил покаянную физиономию: «Знаешь, сынок, мне нравится, как пахнут возчики на волах, как пахнут овчары, кузнецы, трубочисты; но вот запах профессии господина Томки я не люблю». «А раздающий благословение может сидеть на повозке золотаря?» Дед полистал в уме Талмуд и, склонив к плечу голову, твердо ответил: «Да». Целый день я провел рядом с Томкой; и сам он, и ослы его были добрые и грустные, хороша была и его сливовица. Рядом с его домом жил цыган, сборщик костей, под одной крышей со своей лошадей. Завидев нас, он тоже поморщился: «И зачем только барич водится с этим вонючим мадьяром? Я бы с ним и разговаривать не стал; пусть он два дня в колодце отмокает, все равно не стал бы, холера ему в селезенку». Но потом они очень даже душевно беседовали; цыган угощал нас печеночной колбасой, господин Томка сначала отнекивался, потому что колбаса была явно издохлятины,

но аромат у нее был дивный, и мы ели ее, по уши измазавшись в жире. Все-таки я настоящий маленький коханит, – говорил я себе, пьяно рыгая, по дороге домой.

Дед мой был в городке очень уважаемым евреем; ему принадлежала самая большая в комитате скобяная лавка: шесть витрин, десять человек прислуги, длинный торговый сводчатый зал, уходящий куда-то в глубину; торговое дело основано было его отцом еще в 1868 году, стены в лавке массивны, порядки незыблемы; на втором этаже – жилье, на первом – сама торговля, которую дед ведет с импозантной солидностью, сохранив все, что получил в наследство, и даже немного добавив к этому. Приказчики по утрам сидели на садовой скамейке, ждали, пока дед, гремя связкой ключей, ровно в восемь торопливо спустится по лестнице; распахивались железные двери, взлетали ставни, железная печка зимой еще хранила жар с вечера; приказчики надевали халаты и, вынув табакерки и скрутив сигарки, поджидали первого покупателя, чтобы хором приветствовать его. Они еще мальчишками работали здесь, рисуя на масляном полу восьмерки водяной стружкой, а к свадьбе получали в подарок от хозяина дом. Слово «нет» они если и произносили, то стыдливо прятали глаза: нельзя, чтобы покупатель уходил с пустыми руками, неудовольствованный переступал обитый медью порог, над которым прибит был маленький костяной футляр с десятью заповедями на пергаменте. Цены на товар здесь были твердыми, но если в лавку забредал любитель поспорить насчет цены, на сцену выходил какой-нибудь тертый приказчик с хорошо подвешенным языком, который на уничтожительные слова мог солидно ответить словами похвальными; самым изощренным мастерам поторговаться давали десятипроцентную скидку. Бывали и стеснительные спорщики в драных стоптанных башмаках; от названной цены у них на лице появлялось глубокое уныние. Приказчик обязан был догадаться, что проволоку для укрепления драночной кровли или новую косу к жатве эта супружеская пара не купит потому, что у жены в кармане юбки завернуто в платок денег меньше, чем запрошено. В таких случаях приказчик вполголоса сообщал измененную цену. «Кто опасается, что разорится, если скостит бедняку цену, тот заслуживает разорения», – часто говаривал мой дед. Покупатель явился с жалобой: вон тот младший приказчик, вон, вон он, глаза прячет, обманул его с весом; дед багровеет: «Кто обвешивает другого, тот землю злом заражает». Если по улице мимо лавки, отводя взгляд, проходит должник, дед тактично скрывается за сводчатой дверью: «Нельзя напоминать человеку, что он пока не может мне долг отдать». Покупатель украл какую-то мелочь; приказчик спрашивает: звать полицию? Дед сердится: «Мало ему того, что он грех воровства взял на душу? Еще и позорить его перед всеми?» «За кражу наказание полагается», – говорит приказчик. «Он его уже получил», – твердо отвечает дед. «Ты, внучек, знаешь, я человек богатый, а перед другими это оправдать трудно, даже если я и не занимаюсь обманом. Почему я товар не продаю дешевле, чем покупаю? Во-первых, я бы, конечно, через год разорился; а главное, если честно: не хотел бы я, чтобы люди меня считали безмозглым». По улице строем идут солдаты, распевают издевательскую песенку про евреев; дед не смотрит на них. «У этих людей обед сегодня был куда хуже, чем у нас с тобой. Им никто телячье жаркое не подавал. Богатые – жадны, бедняки – завистливы. Евреем здесь нелегко быть. Одних ненавидят за то, что они богаты, других за то, что они коммунисты». В девятнадцатом году, во время белого террора, деда моего выкинули из поезда; со сломанной ногой он лежал в снегу и не кричал.

8

Бабушка моя умерла от рака матки; на ее надгробье дед вызывающе поместил мужское, от первого лица, признание: «Ты была моим счастьем, моей гордостью». Когда заходила речь о покойной жене, он каждый раз закусывал нижнюю губу и отворачивался к окну. В бабушкину комнату после ее смерти никому не разрешалось входить. Исключением была только старая наша кухарка, Регина: каждую пятницу она вытирала там пыль; Регина была для бабушки

живой записной книжкой, она и ухаживала за ней до последнего дня; самое страшное свое проклятие – «Чтоб тебя тихим дождиком замочило!» – она обрушивала на непутевую горничную, когда та, пугливо блестя глазами, заглядывала в дверную щель. В комнате, думаю, никаких тайн не было, только бабушкина толстая, с мужскую руку, темно-рыжая коса на столе.

Хотелось бы мне увидеть сейчас ту шестнадцатилетнюю девушку с поразительно тонкой, осиной талией и агрессивно развитой грудью; на писанном маслом, выдержанном в коричневых тонах портрете девушка эта словно бы смотрит, с трудом пряча улыбку, не на художника, а на себя в зеркале, и зрелище это отнюдь не повергает ее в отчаяние. Оттененное сине-стальным бархатным платьем с белым кружевным воротничком, лицо ее взирает на вас с выражением еле сдерживаемой, мерцающей в глазах дерзости. Пока дедушка, в пенсне на носу, дремал, между фруктами и черным кофе, в своем кресле, положив руки на львиные морды, украшающие подлокотники, я, разглядывая портрет, весьма одобрял мудрый выбор давнишних брачных посредников. Дедушка – на смотринах, в маленьком трансильванском городке. «Потчуйтесь нашими шанежками», – радушно обращается к нему барышня. Дедушка не знает местного диалекта – и растерянно улыбается, предпочитая есть глазами барышню: на столе – блины со сметаной, где тут эти шанежки. «И не пяльтесь на меня, вам говорят!» Но дедушка не может отвести от нее глаз, смотрит, не моргая. «Не перестанете пялиться – так гляну, что мозги перекосит!» – грозит юная бабушка. Даже это не помогает; тогда она убегает в горницу – и возвращается, надев на голову пустую тыкву с дырками-глазницами.

А у него в самом деле словно мозги перекосило; даже в синагоге, такое позорище, такая стыдоба, он смотрел не столько на свои ладони, сколько наверх, на забитый женщинами балкон, все искал ее глаза за позолоченной решеткой. Они были друг для друга как левое и правое полушария мозга; община, глядя на них, осуждающе трясла пейсами. «Только знайте: волосы я не остригу, и парик не буду носить, и чтобы в доме ванна была», – решительно заявила бабушка на помолвке. Жених серьезно кивнул. Он смотрел на хитроумную, в виде средневекового замка, прическу на ее маленькой подвижной головке, готовый прямо тут, на террасе, собственноручно вызвать волшебный рыжий водопад и блаженно утонуть в нем. Бог не вправе требовать от него, чтобы он осквернил ножницами этот редкостный дар природы. И вот дом на главной улице заволокли строители, и вскоре на втором этаже, над шестью витринами, на классическом фронте торгового дома, уходящего далеко в глубь двора, – узкие окна сменились широкими, темные комнаты залило светом. А в пристроенном к дому крыле молодую ждала ванная комната с мраморным подогреваемым полом; правда, смелая эта дама входила в воду в длинной, до пят, батистовой ночной сорочке: не приличествовало замужней женщине любоваться собственным нагим телом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.